

**Б**ыл апрель. Моя пятая весна на Дальнем Востоке. Руки превратились в крылья, и я полетела на трамвае второго маршрута в центр Владивостока на Алеутскую, где, как мне сказали, находится отдел кадров Дальневосточного морского пароходства.

— Ориентируйся по «Серой лошади», ДВМП как раз под ней, поняла, девка? И чемодан свой забирай, сдашь в камеру хранения, там вокзалы рядом, ты же написалась из нашего общежития.

— Спасибо, — сказала я голосом птицы с чемоданом. — А камера хранения — это дорого?

— Откуда я знаю, я дома живу!

— Да копейки! — крикнул парень и ловко прошмыгнул за моей спиной.

— Эй, ты, куда? Вернись!

— Тыкудавернись, тыкудавернись, — стучал по рельсам трамвай. Отдел кадров кишел народом. Одни бежали в одну сторону, другие — в противоположную, третьи — сквозь меня, срезали углы, закладывали виражи, чертили зигзаги, я топталась на месте. Как чувствовала, что не получится на этот раз на крейсерской скорости изменить свою жизнь. Вершителем судеб оказалась немолодая властная женщина, одетая «как попало». Перелистнула мою трудовую книжку, исписанную почти до конца, прочитала мне краткую лекцию о ненадежности «летунов», пристально взгляделась в мою все еще детскую физиономию и велела приходить через год, с характеристикой...

Разочарованная и растерянная, я шла по Алеутской, то есть по Двадцатипятилетия Октября, назад. Куда «назад»? Возвращаться-то некуда, все имущество — чемодан — в камере хранения. Прямо передо мной — широкая стеклянная дверь, на ней приклеен листок с напечатанным «Требуется уборщица, предоставляется общежитие». Прямо как письмо мне от невидимого ангела, которого мама в далекой Рязани соткала из своих молитв. Приняли, поселили, через день уже бегала с тряпками и ведрами, зато жила в самом центре Владивостока. Из окон общежития на восемь коек — море с гулящими пароходами, флаги, музыка и огни, праздник! И все сбудется, я увижу дальние страны! Я прошла фейсконтроль перед чекистским взглядом кадровички, а хорошую характеристику заработаю!

В молодости, куда бы жизнь ни повернула, она все равно летит. Крылья у нее разноцветные, все видит, все слышит и впитывает, и подражает, и сил на десятерых.

Легендарная гостиница «Золотой Рог», мое место работы, всегда была заполнена студентами-заочниками со всего Дальнего Востока, столы и кровати в номерах завалены учебниками и конспектами, постояльцы ходят, как сомнамбулы, с книжками в руках, трудно не заразиться!

Прилетело откуда-то, по радио или в газете, объявление о приеме на библиотечное отделение культпросветтехникума, как раз для меня, запойной читательницы. Съездила в Уссурийск, поступила на заочное.

О, советское время! Какой плюс ты ставило учащемуся человеку, как легко по твоим законам было отпрашиваться на сессии и экзамены с сохранением зарплаты! Мамин ангел-хранитель теперь был спокоен за меня, я была при деле. И пусть оно означало получение минимального образования и самую невидимую профессию с оплатой на хлеб без масла, но первый шаг все же свершился.

Наконец-то, через семь лет после окончания школы я читала не стихи и романы, а странное — библиотековедение, каталогизацию, историю литературы от Древней Греции до наших дней. Простейшее по сравнению с другими науками. И зря считают заочное обучение неполноценным, заочник читает и учит больше, чем надо, у него нет кратких и точных лекций и конспектов.

Темные осенне-зимние утра сливались в одно целое, неумолимое проклятие судьбы в виде лабиринтов километровых коридоров, ведер с водой и швабры с огромной тряпкой, к которым я, казалось, была прикована на века.

Смотрела на мир и видела сплошные аллегории. В двух шагах от места работы и жилья обитает огромное, до горизонта, чудище, покрытое морщинистой сине-зеленой кожей, это Титан Океан, бесится, плюется белой пеной, рокочет и кидается, чтобы укусить. А под той скалой дочь его — Стикс, река с ледяной даже летом водой. А над ними Солнце-Гелиос с огненными глазами и Небо-Уран. Катер ходит к героям Троянской войны — Диомиду и Патроклу, если здешние ветры — дети Эола, меняющие направления и погоду каждый час, не отменят рейс. Судьба моя — Мойра, мощная демоническая сила, дочь Ночи, Пряха, подруга кадровички из морского пароходства, которая Фемида, богиня справедливости. И хотя кровь у них бесцветная, как написано в истории Древней Греции, но иногда они мудрее самих себя, потому что рождены не жалкими людьми, а какими-то высшими силами.

Кадровичка всего лишь не взяла на работу, а оказалось — послала учиться и получать профессию.

До первой зимней сессии я глотала из учебника этих древних греков и их козлоногих богов, живьем, как Зевс одну из своих жен, чтобы присвоить ее мудрость и самому родить любимую дочь Афину, богиню беспредельной силы для укрощения Хаоса во имя нового, разумного, мира. А потом в темноте и космическом холоде в совершенно пустом посленовогоднем поезде ехала в Уссурийск. Кренясь на поворотах, глядела на отражения в черном окне, думала, что древнегреческие сказки больше годились для моей страны, а не для солнечно-виноградной Греции с ее лазурными морями вместо вечно оскаленных белых клыков Тихого океана. После этих мифов стало казаться, что все на свете живет, дышит и смотрит во все глаза. Споткнешься о камень, а он тихо ругнется, кинешь взгляд на солнце, оно подморгнет, даже невидимое шевелится иногда и возникает на краю зрения. Дико и страшно, ничего, привыкну.

Однокурсницы, парней не было, оказались простыми, смешными бабами из райцентров и сел. Одну привезли на лошади с телегой, в валенках и тулупе, с банкой капусты и мешочком картошки, другая вечером в комнате общежития развлекала всех рассказом о своей брачной ночи после свадьбы. Почти все замужем, с детьми, уже работают в библиотеках.

— Диплом нужен вот так! — проводили рукой по горлу. С уважением и непониманием, как на другую расу, смотрела я на этих девчат, которые чуть старше

меня... У них уже семья, дети, постоянная работа, они строят свою жизнь упорно, по кирпичику, а я!

«Первые люди — примитивные создания, не отличающиеся от муравьев, погибли в волнах потопа. Зевс прекратил потоп, Гелиос высушил Землю, и природа вновь стала улыбчивой», — вся комната учила одно и то же. Чтобы забыть сразу же после зачета. Потом дрались подушками, как дети. Вечером пошли на танцы в этом же общежитии. Очки, будущие культпросветчики, играли на всех инструментах, пели и плясали, с оглядкой выдавали робкий рок-н-ролл.

Мы, библиотекари, смотрелись совами в очках, даже если очки не носили. Позрелев после буйства этих мальчиков и девочек, грустно вернулись к учебникам. «Красавица Афродита выбрала хромого кузнеца Гефеста, но изменила ему с богом войны Аресом. У них родились дети, Эрос и Антэрос, как указание на притягивающую и отталкивающую силу любви».

— Девки, — я тоже своего то люблю, то ненавижу. — Ой, боюсь! Ничего не знаю! Кто первым-то пойдет?..

Я тоже боялась, но сказала: — Я пойду.

Мне хотелось погордиться перед ними хоть чем-нибудь.

Зимой на небе только луна. Солнцу холодно, вылезет из постели на горизонте к одиннадцати утра, поедится от ледяной стужи и почти тут же зайдет, царствуй, луна! Радуй волков и спешащих в тепло людишек. Вот в такой день античные боги в награду за пятерку по знанию их жизней и буйств послали мне живьем образ античной красоты. Какая-то девушка в темном коридоре возле аудитории просила дать переписать конспекты. С таким трагическим лицом, что мимо не пройдешь. Молодость просто создана для знакомств и дружб. «Вот и подруга мне», — поняла я по какому-то наитию.

— Возьми конспекты, но только до завтра. Как тебя зовут?

Назвалась Валентиной, улыбаться не умела даже для приличия, муж — офицер, служит в Усурийске, двухлетняя дочка приболела, поэтому на сессию опоздала, хочет сдать ее и перевестись в Ленинград, к маме... С мужем, наверно, разведется, у него другая... Что-то сиротское было в ней, мое. Ведь я шестой год живу бездомной сиротой, а дом в десяти тысячах км. Всего! Как тесно мне было в Рязани и как повезло приехать именно на Дальний Восток по хрущевскому оргнабору! А семья, дом? Потом.

«Моей душе еще скитаться надо!» Вот побываю в «загранке», как моряки говорят...

— Ведь дадут же мне после года работы в гостинице и комсомольскую и рабочую характеристику, что им жалко, правда, Валя?

Валя смотрела на меня, как на большого ребенка. А я — на нее, как на классическую богиню, у которой все — образец, все четко — глаза, губы. Характер, в отличие от моего, практический, приземленный, но все полно какой-то нежной печали, никому не навязываемой тихой мудрости, никому никогда ни одного необдуманного слова. Может, это и есть знаменитая ленинградская порода? И не мешает ей, такой, то, что я взрываюсь по любому поводу. После лекций спешит домой, я провожаю до трассы, где ходят автобусы, машу рукой ее тонкому силуэту, который растворяется в зимней ночи...

И вот время настало, торжественная, как пионер, я опять стою перед кадровичкой со своей потерянной трудовой книжкой и листиком бумаги с подписями и печатью, характеристикой. Фемида за год не изменилась, богини вечны! И, надо же, помнит меня. Внимательно читает, что я ударник коммунистического труда, студентка-заочница и морально устойчива, потом пронзает меня взглядом чекиста, складывает документы в папку и что-то пишет.

— Так, пойдешь на «пассажир» «Урицкий», там и визу заработаешь. «Опять зарабатывать!» — молча кричу я. Недаром эта хвалебная писулька казалась мне ерундой.

Чемодан, который «все мое ношу с собой», опять отволокла в камеру хранения и иду налегке. Ветер с незамерзающей бухты Золотой Рог рвет в клочья воду, хлопает флагами на судах, а их здесь столпотворение. Где же мой? Стальные чудища портовых кранов ползут по рельсам, загораживают обзор, как бы не споткнуться. Голова поворачивалась на зовущие гудки судов, автокары пронеслись, едва не задев. Спешащий морской народ, казалось, смеется надо мной, я с детства умела видеть себя со стороны.

И вот! Аккуратный белый кораблик, длиной приблизительно со спринтерскую дистанцию, стоял, гостеприимно опустив парадный трап до самой земли. Румяный вахтенный матрос наверху, еще двое висят на канатах, обновляя краской название судна, с палубы музыка... Я, как говорится, животом почувствовала — это мой дом!

— Тебе к Захару, — сказал вахтенный мальчик, — это пассажирский помощник. А я — Вася. Не бойсь! Все будет окей!

Он широко улыбнулся и подмигнул.

Захар Иванович оказался и видом и возрастом чистым Хоттабычем, читал мое направление из кадров, молча шевеля губами, вдруг приосанился и стал похож на отставного министра, я даже заробела. Потом без стука в его каюту-кабинет вошла пожилая, очень ухоженная мадам и непринужденно пригласила седые волосы Хоттабыча на затылке, они топорщились над воротом строгого кителя.

— Завтра пойдешь убирать второй класс, тебе покажут, вахтенный разбудит в пять часов, чтоб к семи все блестело!

Я хотела спросить про визу и когда за границу, но тут по судовой трансляции грянуло «О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибор» — Магомаев!!! И я пошла, улыбаясь, к старшей номерной, потом в свою каюту, потом в столовую для экипажа на шикарный, вкуснейший и, как оказалось, рядовой обед.

Еще одно потрясение я испытала в кладовке старшей номерной, где мне выдали все принадлежности для работы. Я поняла, что кладовка именно от слова «клад». Новые, всех цветов пластмассовые ведра стояли до потолка, десятки пачек стирального порошка, какие-то бутылки с иностранными наклейками, очистители, мастики, щетки, резиновые перчатки, стопки вафельных полотенец и, наконец, огромные махровые полотенца, чтобы стелить их на полу в душевых! Красотой всего этого можно было поразить женщину в самое сердце. Сейчас я вспомнила чей-то эпизод про девушку из Брянска, поехавшую с мужем в Париж. Она позволила оттуда своим, плакала.

— Что ты плачешь? — спросили.

— Жалко!

— Кого?

— Советских людей жалко.

Дня через два велели убрать и туалетную бумагу, и полотенца...

— Зачем? — удивилась я.

— Так рыбаков же повезем в район лова, растащат все...

«Привет, сестренка! Мы плывем куда-то в проливе между высокими берегами, на них снег. Надо бы посмотреть по карте, но сил нет. И спросить не у кого. Мои соседки по каюте прибегают перекурить и снова убегают, потные, как лошади на ипподроме. И я такая же. Отдыхаем только в столовой (кормят, как на убой!) и ночью до пяти утра. Наш помполит организовал движение ударников коммунистического труда, ему — почет, а нам — работа. Всех втягивает в общественную работу, даже мне поручили какой-то доклад, в общем, минутки свободной нет, но пустота остается, чего-то не хватает, наверно, любви. Греет только мечта попасть за границу, заработать деньги и съездить, наконец, в Рязань, седьмой год я вдали от вас. На палубе у нас сейчас лежит какой-то особенный снег, чуть мельче гороха,

подкинешь его, а он падает ровными крупинками. Мне говорят: — Не ешь его, он радиоактивный.

Берега совсем близко, но без признаков жилья. По телевизору в столовой, кажется, японская программа, но без звука... Продолжаю через два дня. Сестренка, я рисую! Подвигло меня плакатное дело в училище, мои библиотечные плакаты преподаватель вешал как образцы! Я знаю, что сейчас в Рязани масленица, снег падает и здесь, и там, здесь — на мокрую палубу, там — на крышу бревенчатого дома. В каюте — холодно, но моем рисунке — жарко, огонь из печи, блины на сковородке, разгоревшиеся лица, кошка на полу, музыка из черной тарелки радио... Сестренка, не уходи в монастырь, влюбись в кого-нибудь и роди ребенка, я буду его любить, присылать игрушки. А это я нарисовала нашу каюту. Это два иллюминатора, это стол с лампой и учебниками, это я — все тот же хвостик на голове, а это с книгой еще одна студентка-заочница, учится в ДВГУ и меня с моим училищем слегка презирает. А, может, мне кажется...»

Боже, что я пишу! Ведь письмо будет лежать до возвращения в город: в море почтовых ящиков нет. Вдруг узнают, что я из верующей семьи? Не важно, что я другая, а визу не дадут.

За иллюминаторами ровный горизонт — линия срастания серого неба с серым морем. Куда же мы плывем? Кого ни спросишь, ответ: в район лова. По длинным коридорам (ковровые дорожки сняли) слоняются парни-рыбаки, сменный экипаж для плавбаз, БМРТ и т. д. В музыкальном салоне для них каждый день кино, один раз были танцы.

— Они с берега, спокойные, — просвещают меня соседки по каюте, — а вот те, которых назад повезем!.. Ух!

Смешно, но никак не привыкну опорожнять ведра с грязной водой и мусором с кормы в море, особенно в ночной темноте. Отрываешь руки от борта, наклоняешься с ведром, а тут корму подбрасывает волна, и ты в невесомости над морской пучиной. От работы винта под кормой пучина адски бьется, рокошет и вот-вот поднимется и поглотит за святотатство — мусор в лицо морского бога. Но тут Вася-матрос (он с первого дня пытается ухаживать): — Пойдем, что покажу! Только тихо!

На светлеющей в темноте палубе сидели дикие утки, отдыхали.

— У них весенний перелет, — сказал Вася. Предугадав его желание обнять, я убежала, шатаясь на раскачавшейся палубе.

Открывать еще было что на этом белом пароходе, лабиринты его коридоров, переходов, трапов почище древнегреческих и до сих пор сняты кошмаром. Это был как бы узкий колодец, куда-то вверх вели обитые железом крутые ступени и вдруг упирались в железную дверь с иллюминатором и ручками-заглушками.

Навалившись на них изо всех сил, я вылезла в эту щель, комингс-порог был полметра высотой. Было темно, но что-то хлопало, свистело, и пахло морем. Поняла — это шлюпочная палуба, хлопала парусина на шлюпках, а свистел ветер, сразу пробравший до костей. Свет шел только сверху, с неба.

Я стояла дрожащая, легко одетая, одна перед ужасом Космоса, крошечная пылинка перед небесной бесконечностью, не имеющей ни начала, ни конца, ни верха, ни низа, ни ума, ни души — перед нечеловеческой и всемогущей механикой Природы.

И молиться было бесполезно, не тронут ее ни слезы, ни молитвы. Древние греки сказали, что люди расплачиваются жизнью за попытки приоткрыть покров таинственного бытия Природы. На страже стоят Сфинксы, медуза Горгона, Сирены, Гарпии, Циклопы и Химеры, созданные ужасать и убивать. Почему-то в русских сказках нет ни Космоса, ни космических богов. Надо спросить у какого-нибудь профессора в моем техникуме — почему?

А утром с левого борта протянулась на горизонте какая-то странная стена, может, плато, может ровный отвесный берег, а за ним ослепительные бело-розовые горы-исполины. Парень с биноклем произнес:

— Камчатка! — и дал мне бинокль.

Я поймала в него чайку, летящую прямо на меня, и наши глаза встретились — ужас! — чуждые, гордые, враждебные всему человеческому глаза. И за все это счастье, за восторг видеть все это платить такой малостью — простым и грубым трудом!

Этот шок и через сорок лет помнится как шок. Эти мужчины с рыбацкой путины ходили по нашему чисто вымытому и нарядному кораблю, изо всех сил стараясь не выглядеть одичавшими самцами. Но один не выдержал. Подошел к девушке с дежурной повязкой на рукаве и, как сомнамбула, повинувшись неведомой силе, положил мужскую лапу ей на грудь и сжал, грудь точно легла в его ладонь. Совершенно случайно этой девушкой оказалась я, хотя могла быть любая, просто меня поставили на вахту возле администраторской, на самом людном месте парохода. И позор случился при всем честном народе! Я лишилась дара речи, а парень через полминуты спокойно отошел прочь.

Это место вахты возле администраторской было главным проспектом с коридорами и каютами первого класса, с киоском, рестораном, музыкальным салоном. Променады для принаряженных пассажиров, место встреч всех со всеми. Блестели огромные зеркала, медные окантовки перил и лестниц и сама палуба, покрытая светлым линолеумом. Все, как в фильме про «Титаник», только масштабом поменьше.

Это была первая чистая работа в моей рабочей биографии — фланировать по пароходу и показывать пассажирам, где душевая, где библиотека, ресторан и их каюта. Я была Ариадной, проводницей в лабиринте, нарядной куклой с улыбкой и вниманием к любому, кто к ней обратится. А повязка на рукаве — это официальный статус и охранная грамота. Когда народ, увлеченный музыкой или фильмом, втягивался в музыкальный салон, он же кинозал, я доставала листки-конспекты и учила «Божественную комедию» Данте или «Василия Теркина», сессия через два месяца. Я была как мобилизованный самим собой солдат, долг которого пробиться к цели, все остальное — побоку.

Вдруг заметила, что девушки с открытой визой держатся своей когортой, особенно, мол, мы уже весь мир повидали, а вы из деревни. Они лучше одевались, работали не уборщицами, а номерными, наверно, и по-английски умели, почти судовая аристократия. Но королевой, а они всегда негласно выбираются в женском обществе, оказалась Галка Л., такая же невизированная уборщица, как я, тощий, короткостриженный подросток. Фамилию не расшифрую, потому что бывший муж ее был из какой-то владивостокской знати, чуть ли не дореволюционной. Издалека видно — роковая женщина, роковее некуда, хотя похожа на дорогую игрушку, которую кто-то выбросил на помойку. Наверно, из злости, что не смог разобрать на части. Ей даже краситься не надо, и любая, хоть самая лучшая, одежда хуже ее золотого цвета кожи и змеиногибкой фигуры с тоненькими ручками, длинной шеей и ногами. С породистого личика распахнуто смотрят честные глаза людоеда. Она создана для мужчин. Ни один не пройдет мимо, не обернувшись. Некоторые тут же поворачивают за ней. Она не отшивает: если Он нравится, то вечером понесет выбрасывать ведра с мусором, а утром встанет раньше нее, чтобы помочь. Как-то услышала, что «Галка за визу переспала с помполитом», но, видно, даже это не помогло преодолеть какой-то пункт в анкете на визу.

«Здравствуйте, родные, извините, что долго не писала, мы ходили в Аляскинский и Бристольский заливы, далеко на север, к Канаде. Сейчас зашли в Петро-

павловск, и я опушу вам письмо. Ответьте, пожалуйста, скорее на все вопросы, я должна срочно заполнить анкету на визу».

А вопросыки были! Чтоб ответить, мне надо было родиться готовым чекистом, и в первом классе, как только научусь писать, завести учетную книгу и, высунув язык от усердия, записать все о родителях, дядях, тетках, сестрах и их мужьях, о работах, пенсиях, участии в войнах, эвакуациях и оккупациях. Не бабочек ловить и на санках с горки кататься, а успеть, пока все живы...» А отец был коммунистом? А мама — комсомолкой? Ну, это легко! Красавец отец, умерший в мои одиннадцать, всю жизнь состоял в партии «золотые руки», «несостоявшийся художник» и «любитель карточной игры». С войны пришел таким изношенным, что о наградах ничего не сказал, вообще двух слов в день не дожدهшься. А мама была членом партии, искренне верящей в Бога. А похоронив моих маленьких братьев и сестер, получила в наследство тяжелую астму, сама уже доживает с нимбом над головой.

Однажды я увидела недорисованную картину отца, единственную! Потому что занятия, не приносящие денег, в большой семье не поощрялись. На картине было море и небо, больше ничего. Впервые увиденное море! Смотри, отец, моими глазами — сколько моря вокруг! Чаек ты не нарисовал, они в рязанской деревне не летали, и вода слоями, разного цвета вблизи и вдали. Только небо одинаково, далеко и равнодушно. Почти не помню, а вспоминаю тебя, отец, без конца и со словом «бедный», будто это твоя фамилия. Не твои ли гены во мне погнали меня на край света? Филипп Бедный, ты и не знал, что такие края существуют и можно просто сесть на поезд... Ничего, мы с тобой еще побываем в дальних странах, погуляем под пальмами и под чужими звездами! Дорисуем твою картину!

Некоторые вещи сами выбирают — потеряться им или сохраниться, ходят за своим хозяином, то и дело попадаясь на глаза, как, например, мой рисунок на ватмане, которому больше сорока. Я рисовала его на прогулочной палубе «Урицкого» под бешеным, но теплым уже ветром и брызгами волн. На нем девушка Весна в шапке-ушанке и распахнутом пальто, с робкой улыбкой и лучистыми глазами доверчиво, как младенец, смотрит прямо на вас.

— А я думал, что ты плохая, — сказал матрос Вася, — давай, рисуй дальше!

Слава Богу, он уже переключился на маленькую повариху, все время возле камбуза, и не донимает меня своим вниманием. А призрак отца, маячащий на палубе в вечерних сумерках теперь не один, рядом девушка в ушанке, они смотрят на первые звезды над морем. Пароход большой, места хватает всем.

«Дорогие мама и Лена! Наш «Урицкий» вот-вот отплывет с туристами в рейс «По морям и землям Дальнего Востока», и я спешу опустить вам письмо. Сессию я сдала на тройки, только по литературам, русской, советской и зарубежной, — пятерки. Недавно общее собрание парохода дало рекомендацию для визы, и меня даже хвалили, а за что? Что не пью и не гуляю, им и это хорошо. Анкету с тысячько вопросов я еще не заполнила. Откроют месяца через три, когда проверят все данные, если найдут меня достойной представлять СССР за границей (без меня там тысячи пьяниц и дураков ее представляют). Туристов очень много, из шестидесяти городов, хотя путевки на это месячное путешествие, говорят, очень дорогие, недоступные простому народу. Все, бегу! Много туристов — много работы. Пока!»

Наше судно немецкой постройки из серии, называемой в пароходстве «рысакими», с экипажем в сто человек (половина — женщины), заново покрашенное, с разноцветными флажками от киля до клотика, нарядное, как игрушка, с оркестром на палубе, так странно выглядело на фоне буксиров, катеров, плавабаз, «грузовиков», военных кораблей, доков и портовых кранов. На это стоило поглядеть, нарушив требование пассажирского помощника не светиться среди пассажиров; даже вылощенные штурманá передвигались деловыми перебежками.

Оркестр заиграл «Прощание славянки», и мы поплыли мимо судов-работяг, как чужой праздник мимо скучной будничной жизни. Я была на празднике, одновременно и на работе. Странно, как во сне, и они такие же странные. Сегодня, например, снилось небо, по которому плыли туманно обозначенные лица Пушкина, Толстого, Тургенева. Толпы людей в темноте показывали на них пальцами и удивлялись. Это отголоски сессии, конечно, но как здорово! Наверно, я счастливая!

Но возраст был уже недетский, работа — двадцать четыре часа в сутки, и не уйдешь домой отдохнуть... Опять кто-то укачался и наблюдал, хотелось рыдать. У них там бухты Счастья, тисовые рощи, лианы, вулканы, рокошущий пляж. А тут убираю туалет, вваливается толстяк и, не глядя, буквально в метре от меня отливает. Как будто я — просто предмет. Вот выучусь и — никогда, никогда! — не буду больше уборщицей. Эти тряпки, ведра, грязные туалеты, коридоры видеть не могу! И на всю жизнь кошмар повторяющихся снов — вымыть километровый коридор за пять минут, иначе четвергуют!

Вдруг всплыла фразочка, откуда-то переписанная, у меня уже целая тетрадка таких. «Полно, полно, почтеннейший, не жалуйтесь! Разве вы не были только что в Атлантиде?» Господи, каждый день для меня как Атлантида, спасибо тебе! Прости за уныние. Вот, таскали с младенчества в церковь, теперь чуть что с Богом разговариваю, хотя смеюсь над собой. Ладно, пусть, надо же с кем-то говорить.

Какое счастье в этой плавучей гостинице с ее суетой — библиотека. Вот сейчас возьму «Люди, годы, жизнь» и сразу окажусь в Атлантиде, в лучшем из миров. Хотя б на полчаса, пока Захар не вспомнит и не погонит куда-нибудь. Вот где-то живут такие люди, как Илья Эренбург, пишут такие книги, почему же мне они не встречаются? Чего захотела! Эренбург один на всю страну.

— Это его лучшая книга, я ее тоже люблю, — говорит библиотечарша, — хорошо, что успел, написал и умер, в прошлом году, выполнил свой долг.

Умер, как жалко. Может, мне надо было бы не по морям шататься, а уехать туда, где живут интересные, талантливые люди и жить среди них. А то ведь, по большому счету, нет у меня ни подруг, ни друзей.

Пойти в гости можно только к радисту Юре, примоститься на что-нибудь в тесноте между каких-то приемников, передатчиков, усилителей, он поставит на магнитофон своего любимого Сальваторе Адамо, потом Энрико Масиаса, Тома Джонса, Магомаева, Татяна, двух заводных японок, которых наши перевели как «У моря, у синего моря, со мною ты, рядом со мною...» Сидеть молча, смотреть под музыку на мигающие разноцветные лампочки в радиоприборах. Правда, сам этот безумный Юрик мешает. Небольшого ростика, тощий, встрепанный, красный от волнения. Ясно, что ему нужна девушка, просто любовь, и он суетится возле каждой, думает, а вдруг это Она? Но ответа не получает, видно, не знает пословицу «Чего душа хочет, о том судьба хлопочет». Зато сильно удивил, рассказав, что «Когда б имел золотые горы» — национальная песня Швейцарии, когда ее начинает один, то подхватывает весь зал.

В следующем круизе, а было их целых пять, по двадцать одному дню каждый, появился еще один запомнившийся человек — Танька Айдарова, поселили в нашей каюте как солнце, потому что все время смеялась от радости, совсем молодая.

Чужой праздник продолжался, но лето, которое наконец-то пришло и на Дальний Восток, все как-то смягчило. Море не штормило, и туристы не укачивались. Они перемещались из кают и коридоров на палубы, значит, нам, обслуге, меньше работы. Прогулочная палуба покрылась яркими шезлонгами, нарисованным шахматным полем с огромными фигурами, танцы, концерты тоже там. На Сахалине, в Магадане, на Камчатке и Курильских островах за туристами приходили катера, плашкоуты, автобусы, иногда их встречали с хлебом-солью, звучала музыка, экс-



курсоводы с рупорами собирали группы по разным маршрутам, а мы, экипаж, смотрели сверху и слегка завидовали. Вдыхали и шли досыпать часок. Судно затихало, как брошенное.

И можно было даже лечь позагорать в шезлонг, ничего не стоило вообразить себя богатым праздным туристом: у ног плещутся лазурные моря с волшебными островами, в небе парят птицы и бабочки всех цветов, и на расстоянии вытянутой руки лежат манящие чужеземные города, откуда доносится музыка и запахи цветов. Как повезло мне! Никогда бы не заработало столько денег на все это ни мне, ни моей сестре, которая всю жизнь живет с нашей больной немощной мамой!

Отпуск? Поездка на юг? Дом отдыха? Я не знала, что это такое. Я ничего не понимала в экономике, слова такого не знала, но иметь столько денег, чтобы прилететь с запада во Владивосток, сесть на шикарный пароход и почти месяц жить на нем, питаться в ресторане, пересечь несколько морей, сходить на берег в самых экзотических местах, где вулканы, заповедники со зверьями, горячие гейзеры, водопады, тисовые и бамбуковые рощи, а на судне — танцы, концерты, кино, праздник Нептуна... Фантастика для советского человека, живущего в телогрейке и сапогах от аванса до получки, копейка в копейку, при этом выстаивающего свою жизнь в очередях за едой, одеждой, за всем.

И еще странность для советского времени — Япония рядом, в Сангарском проливе, видна по телевизору, Корея вообще впритирку и пятидесятый штат США недалеко, а уж сколько можно услышать запрещенного и в Магадане, и на Сахалине, и на Камчатке, да даже во Владивостоке, закрытом городе! Ссылные края первых несогласных, заповедники диссидентов и всяких вольнодумцев, университет на открытом воздухе для тех, кто хочет узнать из первых уст о репрессиях и лагерных ужасах.

Но власть не боялась, ведь еще какая-никакая оттепель, и Солженицын уже напечатан, и круизников наверняка на благонадежность проверили, и вообще прошло пятнадцать лет всего, как умер Сталин, и воспитанный им народ еще смирный, да и стукачи в этом народе добросовестно работают. И вообще, веселящимся отпускникам не до мрачной истории.

Но советская жизнь на судне кипела — комсомольские и партсобрания, политинформации, соревнования за что-то, выпуски стенгазеты, вызовы на ковер к пассажирскому помощнику. А иногда и такое: «Уборщице первого класса подняться в каюту старпома» — по трансляции голос очень строгий, приходишь — там пьянка в честь чего-то, наливают-закусывают, лица красивые, глаза ласковые.

— Извините, — говоришь, — у меня и так голова болит.

Посидишь с краю, чтобы не обижать, и потихоньку смоешься. Не объяснять же им, что у тебя аллергия на все эти запахи, еще спишут за непригодность, и прощай загранка! Я и по зрению прохожу только потому, что выучила наизусть шесть рядов таблицы.

Почти каждый день стадо двуногих вступало на новые для них розово-младенческие земли. Верхушки сопок уже встретили рассвет, а в низинах еще бродили мамонты ночи, и взлетали птеродактили, и все молчало, в мире еще не было слов...

— Скорей! Наша группа уже спускается на плашкоут, — Танька Айдарова вытащила меня из каюты и поволокла к трапу. Многие туристы отказались четырнадцать километров пешедралом топтать через весь остров Шикотан, и экскурсоводы пригласили экипаж. И мы поскакали, как козы, по камням, скалам, болотам, горным тропам, непроходимым зарослям чего-то колючего, ядовито-дурманного. Я забыла косынку, на ногах спадающие босоножки, а туристы в ветровках и в кедах, некоторые в резиновых сапогах. Сверху наяривало солнце, а тропа шла через горный ручей, я брела по щиколотку в обжигающе ледяной воде, зеленой

от отражающейся травы в человеческий рост, лист лопуха размером в простыню. Перешла этот Стикс и села на широкий камень.

Группа уходила без меня, перед последней парочкой я через силу приняла безмятежный вид. Меня трясло и бросало в озноб, все стало немило, пронзительно яркие краски моря, неба, зелени, цветов слились в разноцветный хаос, и он зыбко дрожал в глазах, плясал, кружился, дробился на пятна и снова сливался.

Я сползла с камня в траву, глаза закрылись. «Умерла на одном из Курильских островов» — представилась строчка из моей биографии, и больше я ничего не помню. Может, действительно тогда умерла и живу в одном из тысяч параллельных миров. А может, все обошлось, я догнала группу и вместе с ней прошла эти версты до бухты Церковной и обратно, не знаю, мне ничего никто не говорил. И волшебные места бывают опасны, то ли ты не годишься для них, то ли они для тебя. Пословица есть — «Чем дальше от Парижа, тем он прекрасней», слово «Париж» замени на «волшебный остров».

Круизы подходили к концу вместе с летом. После театрального праздника Нептуна Тихоокеанского туристы, веселые, мокрые, раскрепощенные, пьяненьким хором поют на прогулочной палубе: «Ну что тебе сказать про Сахалин, на острове нормальная погода». А в коридорах от Нептуна лужи, надо идти подтирать... «А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза...» Вон Захар, во взгляде его: «К швабре, к швабре, не твой праздник! Чтоб все блестело!»

«А я кидаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза». Нет, это Сангарский пролив, японцы смотрят в бинокли — кто это расшумелся? Да, наш Юрик любит включать музыку на всю катушку, аж рыбы выскакивают.

Гулять так гулять! Двери кают открылись, туристы пошли «в народ», чтобы побрататься наконец с теми, кто поил, кормил, развлекал, убирал и чистил, кто катал их по Тихому океану, как по какой-нибудь среднерусской реке, и тихим ходом семнадцать миль в час возвращал домой.

Уже принаряженная, без швабры и ведра, я шла на музыку и веселье, туристов и экипаж пригласили на совместные танцы, и тут меня прямо затащили в одну из распахнутых дверей. В каюте вокруг накрытого стола сидели и стояли человек пять, солидные немолодые мужчины. Двадцать лет спустя я бы взгляделась в лица повнимательней, а тогда понятия не имела, кто это, бейджиков на груди еще не прикалывали. Налили рюмку вина — за чудесный круиз! Неудобно отказать патриархам, что это именно они, сразу видно.

— Что читаете?

Я же всю жизнь с книжками в руках.

— Уолт Уитмен, «Листья травы».

Переглянулись удивленно.

— Да, я уборщица, но это временно, я студентка...

Самый высокий, представительный подмигнул своим товарищам, достал что-то типа удостоверения в твердой обложке, раскрыл, протянул мне. Прочитала: Миль Михаил Леонтьевич, авиаконструкторское, не помню, бюро или объединение. Он с лукавым любопытством следил за моей реакцией, я судорожно перебрала в голове все, что знала об авиации от Икара до космонавтов, никакого Милия в голове не было.

«Эх, темнота!» — подумала про себя, покраснела, пожалала плечами, вернула удостоверение. Все засмеялись, он тоже, но явно был разочарован. Потом из энциклопедии я узнала, что на момент круиза ему было пятьдесят девять лет и оставалось прожить еще только два, что как раз в шестьдесят восьмом ему дали государственную премию. Вертолеты Ми-6, Ми-1, Ми-10 — это как раз он, Герой Социалистического Труда и, наверно, просто герой. А тогда снова налили бокалы.

— А на кого же ты учишься? — спросил Миль.

— На учителя литературы, в ДВГУ, — соврала я. — А здесь визу зарабатываю, за границу хочется посмотреть.

— Зачем?

Тут вторая рюмка-бокал сделала свое дело, и я вмиг перелетела порог вечной своей застенчивости и внятно, как со сцены заговорила стихами: «Границы мне мешают. Мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка. Хочу шататься, сколько надо, Лондоном, со всеми говорить хотя б на ломаном. Мальчишкой, на автобусе повисшим, хочу проехать утренним Парижем...»

В общем, меня понесло. Наверно, вино у этих старичков было хорошее! Да и сами «старички» какие-то особенные, ничего «туристского» в них нет, одежда строгая и лица такие же, улыбаются, но, видно, трудно им даются улыбки. Один Миль повеселей, видно, лидер. Наверно, рванули всем своим конструкторским бюро в этот экзотический круиз. У капиталистов Париж, Лондон, Рим, а у нас Сахалин, Магадан, Камчатка — одинаково поражающие, как легенды и мифы народов.

Лет через десять, когда перестала интересоваться только собой, я бы спросила у этих старичков, что произошло в сорок девятом в Подмоскowie, где работали после медучилища две девушки, и вдруг обе заболели белокровием и вскоре умерли, одна из них — моя сестра Валя.

Но тогда я читала стихи, шутила, в общем, «выступала», а они смеялись и наливали, но в какой-то момент я посмотрела на все обычными своими трезвыми глазами, отыскала своего Уитмена и ушла. Вечно ухожу из любой компании, когда начинаются повторения, словно на заевшей пластинке, когда любимая мелодия превращается в пародию на себя. Скорей снять!

Улетели туристские стаи, теплоход наш привязан к берегу толстенными канатами, отдыхает, разваливсь белыми боками обоих бортов, выпятив желтое пузо прогулочной палубы. Выкинуты ленивые шезлонги, ушли шахматные гулливеры, и никакой музыки. Пусто, тихо, поздний бархатный сезон. Галка и я сидим на причальных тумбах, на которых намотаны канаты, удерживающие нашего левиафана (морское чудовище) «Урицкого». Вокруг бегают Галкина пятилетняя дочка. Мать не боится, что та свалится с причала в море, дочка шустрая, умная, красивая, уменьшенная копия Галки. Лет через двадцать я вдруг увижу ее по телевизору как диктора и сразу узнаю.

— Мама, ты вся золотая, — она гладит мать по рукам и ногам, золотым от загара, потом пристаёт ко мне с книжкой про животных. — Какой красивый слон! — восхищаюсь я нарисованной курицей.

— А это птица, — показываю на рыбу. Дочка обескуражена моим невежеством, потом хохочет, включается в игру, и мы переименовываем весь животный мир. Галка же то и дело смотрит на часы и на трап, ее гражданский муж Петя задерживается. В пять утра он уже на ее участке, выносит мусор, носит ведра с чистой водой для мойки коридоров. Такой стройный, молодой, тихий, светящийся от любви. И не догадывается, что его ждет... Глаза у Галки темные, с пожаром внутри. Жестоки нравы красавиц, особенно красавиц с детьми, эти женщины хлебнули и любви и последствий, не ее они уже ищут, а того, кто будет кормить их с ребенком и заботиться, в общем, отца.

Морячки-девушки, в основном из бедного народа, приезжие, которым негде жить в этом городе, где, можно даже подумать, специально не строят жилплощадь. Мол, кому? Весь Владивосток в море! Поскитаешься-поскитаешься и идешь устраиваться в конторы с плавучими койкоместами. И живешь годами бродягой, скитальцем, очарованным странником. Романтики по горло вместо обыкновенной жизни на земле, как тут говорят, на берегу. Придешь из рейса — пойти некуда.

Комсостав привилегированный и те, у кого семья, хоть и в съемной квартире, разбегаются, в гости не зовут, ходишь по пустому пароходу, вечером часами стоишь,

подняв воротник от ветра, смотришь на огни города — фонари, фары машин, квадратики окон. Ровными рядами — многоэтажки, одинокими огоньками вразброс — частные домики на сопках. И сопки, и домики на них слились с ночным небом в общую тьму, поэтому светящиеся окна висят сами по себе, как квадратные звезды. Однажды я все это нарисовала, какое это счастье — уметь рисовать! Спасибо, отец!

Опять нас погнали в рыбопромысловые районы по северному уже ветерку мимо оголенных позднеосенних берегов с рыбаками. Наш «рысак» за границу не бегаёт, но на нем зарабатывают визу, заслужившие ее переходят на «Байкал», «Хабаровск», «Приамурье» — такие же однотипные «рысаки». И комсостав меняется, пришел новый помполит, вместо Юрика-радиcта — пожилой, равнодушный к музыке, получившие визу девушки тоже ушли.

На палубе холод, ветер, весь народ внутри, толкотня в коридорах первого класса, в музыкальном салоне то кино, то лекции, то вечер танцев. Я опять на вахте, с повязкой на рукаве, возле администраторской, в кармане конспекты, учу, скоро зимняя сессия.

Парень выделялся какой-то нерусской стройностью, даже изяществом, уверенной, звериной ловкостью даже при сильной качке. Пригласил меня на танец, двигался, как профессионал, сказал, что из Чечни, первый раз идет в рыбацкую путину.

— Не боишься?

— Пойдем покажу то, с чем ни один чеченец никогда не расстанется.

— С чем это, интересно?

— Нож... оружие горцев...

— Зачем нож? Я имела в виду — не боишься работы? Сээртэшки обледеневают, круглые сутки приходится обкалываться на морозе, тонут иногда, работа тяжелая, выдержишь?

Смерил меня взглядом горного орла. Тут Галка появилась, встревоженно глядела, как мы танцуем. Одна, Петя, наверно, на вахте. Вообще-то к танцам равнодушная, не зажигающаяся от музыки, слишком трезвая и практичная для всех искусств, она иногда вызывала у меня недоумение: зачем же ей была дана такая изумительная, тонкая красота? И вот она мелькает по залу то здесь, то там, словно танцует свой особенный, сольный танец, точь-в-точь как журавли перед передачей «В мире животных».

Мы входили в район лова как в огромный, разбросанный по морю-океану город на воде, ночью светящийся гроздьями огней. А с утра к нам устремлялись мотоботы, наш «рысак» спускал штормтрап, иногда даже включал музыку (мол, знай наших!), и пассажиры-рыбаки отбывали по месту работы. В тот рейс я увидела, что чеченец уже из мотобота машет руками и смотрит вверх, ищет кого-то глазами. Думала, что меня, но вдруг увидела Галку, машущую ему в ответ, посылающую поцелуи...

Конец декабря, новогодняя суэта в ожидании подарков судьбы, говорят же, что на Новый год судьба меняет лошадей. Как всегда с бьющимся сердцем бегу на почтайт к окошку «до востребования». Все время боюсь, что письма отправят назад, хотя я и написала заявление: «Прошу сохранять мою почту, так как я работаю в паромстве и нахожусь в плавании». Сегодня две открытки с общими поздравительными словами, но теплыми приписками в конце мелкими буквами — сестра зовет в Рязань, Валя Попович — в свой Ленинград, она уже развелась и переехала.

Назад бегу, замечаю: асфальт голый, без снега, и ветер с Золотого Рога. Зимнего пальто у меня еще не было, только в детстве, да мне и не нужно, мне жарко, и от рук пар.

Городская елка на площади нежно звенит стеклянными шарами, останавливаясь послушать. В Рязани зима приходит на свои три месяца четко, как дежурный

на вахту, в белых валенках, белой телогрейке, на шапке зеленое зимнее солнце, в кармане спрятанный до праздника мандарин. И вот где я! В десяти тысячах километров от детства, и еще дальше, до Камчатки, до Бристоля, где шторма топят корабли, а я даже не качиваюсь, я — викинг, я — Афанасий Никитин, я — молодец!

— Как встретишь Новый год, так его и проведешь, — Люда Rogozinskaya уговаривает меня пойти в Дом культуры моряков на всю новогоднюю ночь, приглашительные билеты раздает помполит. — Весело встретим — будем весь год веселиться!

— Мне через неделю на сессию.

— У мозгов на праздники выходной день, одевайся!

Людка была новенькой, они поступали из отдела кадров без конца, а прежние, только подружишься, уплывали куда-то, в буквальном смысле. Людка напомнила испанскую, что ли, поговорку, я их собирала в тетрадку: «Ничего нет прекраснее лошади в беге, танцующей женщины и корабля под парусами». Напоминала все эти три явления, а еще артистку в роли служанки. Невысокая, гибкая, с грубым смуглым лицом и хриплым голосом, но самое странное — никогда не смотрела в глаза, только мимо, убегая и огибая тебя. Я не выдержала, спросила, она невнятно:

— Если б ты знала, что мне довелось пережить...

Я заткнулась со своим любопытством. В этот декабрьский вечер наш «дом родной» был задвинут на задворки многокилометрового порта, и мы с увольнительными в зубах, иначе бы нас не пустили назад, вышли через проходную где-то на Эгершельде, доехали на автобусе в центр и пустились во все тяжкие, которые по суверению были необходимы в этот вечер, и получился он самым запомнившимся Новым годом девичьей поры.

Зашли с мороза в ДКМ, который потом будет Пушкинским театром, сразу поняли, что запоздали, потому что уже дым столбом и все вокруг разноцветное, разноголосое, мелькающее в блеске огней. Елка уходит в потолок, как в звездное небо, слева от елки молодежь бесится под музыку, справа — огромный накрытый стол, бутылки, рюмки, закуски, нарядные дамы и господа, то есть коммунисты и коммунистки, элита, комсостав пароходства. Простонародье бегаёт в буфет, но мы даже посмотреть, что там, не пошли, у нас денег лишь на автобус, думали, наивные, что по приглашительному все обеспечено. Ну и ладно! И начали выполнять программу, веселиться, водили по огромному залу хороводы, прыгали в мешках, танцевали «белый вальс» и «танец с хлопучками», отрывались в твисте и шейке, знакомились с кем-то и тут же расставались. Обсыпанные с ног до головы конфетти и повязанные со всеми лентами серпантина — даже с комсоставом, которому надоело пить и жрать, — мы были самыми молодыми и счастливыми. Чтобы отдышаться, масовик-затейник устроил викторину со слишком трудными для нетрезвых загадками: — Кто назовет имя-отчество одного из первых основателей Владивостока Эгершельда? Кто-то рядом сказал мне прямо в ухо: Густав Христофорович, а я крикнула это в зал, и меня наградили красной бумажной розой. Подсказчиком оказался экскурсовод с «Урицкого», и мы с ним дотанцевали до огромного, во всю стену занавеса, за которым был свален всякий сценический хлам. Каким робким счастьем светились его глаза на фоне грубо разрисованного, твердого от краски занавеса. Мужское существо, ходящее запряженным двадцать четыре часа в сутки и только по кругу, вдруг распрягли и отпустили на волю в бескрайний, пьяный от весеннего воздуха мир, а он не умеет ни скакать, ни прыгать, ни танцевать, ни целовать девушек с красной розой в волосах. Этой воли было несколько минут, пока его не окликнула сердито женщина из-за господского стола. Потом поняла, что таких мужчин, как бы не вполне живых, много, они вызывают в женщинах только материнское...

Отпраздновав новогоднюю вакханалию, мы с Людой бежали в три часа ночи сначала по еще не затихшему городу, потом по совершенно темному,

безлюдному, страшному порту, коридором тянущемся вдоль бухты Золотого Рога, мимо каких-то пакгаузов, складов, сараев с черными провалами раскрытых дверей, высоченных штабелей леса с таежным запахом, башен из контейнеров. Стук наших каблуков четкий, солдатский, в мертвой тишине спящего порта оглушал и пугал нас самих подбитыми железом каблуками по мерзлому, железному асфальту.

Праздник смылся, как мираж, был только этот бесконечный, многокилометровый путь среди черных силуэтов чего-то непонятного, незнакомого, сулящего ужас и гибель. Не выдержав, мы свернули ближе к причалам, где было светлее, а пришвартованные пароходы вообще казались людьми. Пробирались под широко расставленными кривыми ногами портовых кранов, спотыкались о тросы и канаты, буксовали в кучах мусора, рельсы блестели, как наточенные ножи. Никогда наш белый пароход не загоняли в этот район, на задние дворы порта. И вот он, наш дом!..

«Здравствуйте, родные! Я вернулась с зимней сессии из Уссурийска, прожила все деньги, убедилась, что береговая жизнь в тысячу раз трудней судовой, прожила до копейки, а тут, на пароходе, и стол, и дом, и работа, и книги, и подруги, и все-все! А сколько зим я перемерзла по случайным углам! На собрании уже с новым помполитом мне опять дали рекомендацию на визу, спросили только, а сколько я собираюсь еще работать в пароходстве? Я сказала, чтобы посмешить народ: «Пока замуж не выйду!..» А то уж слишком чопорное было это собрание. Наш пароход поставили на Приморскую линию, с юга на север по неизвестным мне местам — Находка, Ольга, Пластун, Терней, Светлая, по названиям видно, что все переименовано вместо китайского или языка коренных малых народов. Пассажиры сельские, таежные, но непохожие на наших рязанских деревенских, лучше одеты, культурные, разговаривают по-городскому, без всяких «куды» и «сюды». Красота кругом первозданная, дикая, а домишки жалкие, не доходят руки у СССР до этих краев. А может, и к лучшему? Не застроят «хрущевками». Лена, я рада, что ты наконец влюбилась, хоть и пишешь, что ничего из этого не получится. Лучше иметь несчастную любовь, чем никакой, и оставаться старой девой, невестой Иисуса Христа, как говорят верующие. Никакие фантазии не заменят живой жизни».

В конце марта вернулись с севера края нашего (юг — Владивосток) и вплыли прямо в весну. Высадили наших зимних пассажиров, обалдевших от внезапной смены времен года, и тут я, дежурная, которая обязана все замечать, заметила — неприкаянный парень стоял, озираясь, возле администраторской, был явно не-здешним. Спросил, как найти помполита. Дня через два вся женская часть экипажа знала, что на борту парохода журналист.

— Небольшого росточка, девки, но очень веселый, а стихов знает!..

И потянулись к нему косяками с чаем, пряниками и просто так. Как заколдованные! А я пришла с пуговицами, катушкой ниток и иголкой. Увидев, в чем он ходит, его защитного цвета плащ с деревянными, огромными, покрашенными и уже облупившимися пуговицами на длинных веревочках... мне хотелось хохотать и плакать одновременно. А он:

— Зеленый цвет я люблю, море зеленое и, говорят, глаза.

Я всмотрелась — еще какие зеленые! И хохотала дальше. В общем, «рассмеши девушку, и она твоя!» Тут и рязанское поддакивало: не пожалеешь — не полюбишь! Весь вечер я меняла удивительные пуговицы на обыкновенные, в каюту без конца заглядывали и, ошарашенные семейной картиной, скрывались. А мы рассказывали свои «Илиады», как, преодолев десять тысяч км, оказались в этом краю СССР — любимая тема всех жителей — кто по вербовке, кто по комсомольской путевке, что одно и то же, кто отслужив, кто отсидев, все в поисках счастья. А вот он, Саша, на

самолете, сунув красную десятку стюардессе. Я внутри ужаснулась такой, мягко говоря, лихости, но мне было уже все равно, влюбилась. Сказала:

— А я еще никогда на самолете...

— Ничего, мы с тобой еще слетаем! — плутовские глаза смеялись, но голос красивого мужского тембра звучал искренне и задушевно, а я уже седьмой год жила в этом краю одна и так устала быть сиротой. И мы шли гулять на набережную, Саша включал мой транзистор, нес его в вытянутой руке, демонстрируя эту роскошь прохожим. Мне было смешно и стыдно, но ведь, действительно, роскошь — во всю месячную зарплату. Тогда же заметила, что обут он в войлочные ботинки «мечта пенсионера» или «прощай, молодость». Не то, чтобы эта «мечта» так уж редко носилась народом в те бедные вещами времена, но на «белом пароходе» бросалась в глаза. А Саше все это до лампочки, толкует мне стихи какого-то Бодлера:

«В один ненастный день в тоске нечеловечьей, не вынеся тягот, под скрежет якорей, мы всходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей...»

— Нет, — говорю я, — лучше «с безмерностью морей», а то, выходит, опять человек разочаровался, не утешит его предельность, он же от нее сбежал...

Спорю с ним, спорить — мое любимое дело, а сама думаю, что на этой улице ни одного нет, кто знал бы такие стихи, и вообще о Бодлере... Потом Саша потащил меня в церковь, оказывается, Пасха, откуда он узнал?.. Церковь деревянная, одноэтажная, на Первой речке, жалкая по сравнению с рязанскими соборами. И сквозь милицейские кордоны и толпу веселящейся молодежи сумел протиснуться со мной внутрь с шутками и прибаутками, как уж? Там шла всенощная служба, я подумала: «Как наше венчание...» Потом по расцветшей уже весне нашел мне библиотеку для практики перед госэкзаменами, приходил встречать после работы. Не на пароходе, как в тюрьме, а на берегу, весной, с ним за руку. Все время толкал меня, заводил на подвиги, и вот многотиражка «Дальневосточный моряк» уже печатает мои заметки-корреспонденции. И в Уссурийск он ко мне приезжал, взял только что полученный мной первый в моей жизни диплом, капнул на обложку водки и поджег, осталось горелое пятно. Сказал, по суеверию теперь толк будет.

В гостиничной комнате на десять жилищек кто-то удивлялся, что у меня такой невысокый, невзрачный возлюбленный, одна даже выразилась: «Я бы с ним на одном километре с... не села». Они были слепые, примитивные создания, я счастливо улыбалась на их слова. Судят по самому простому, внешнему, а Саша уже книгу пишет, и в редакциях его знают, и в газетах, и на радио. Идешь с ним по улице, какие люди с ним здороваются за руку! С кем еще может быть такое: пришел за мной в гостиницу в пять утра, и на первой электричке — в пионерлагерь писать репортаж. У Саши тяжеленный диктофон на ремне, и он записывает на пленку утренних птиц, шелест листвы, свист электрички и даже мой смех, говорит:

— Позвени своим колокольчиком.

Правда, вечером я его приревновала, и он куда-то ушел. Пионервожатая с ним заигрывала, рядом с ним любая женщина хоть раз, но улыбнется...

«Здравствуйте, мои дорогие! Я поступила в ДВГУ на заочное, после госэкзаменов в техникуме это было легко, предметы-то одни и те же, филология! Мне наконец открыли визу, жду направления на т/х «Хабаровск», он ходит из Находки в Июкогаму и обратно, пассажиры — русские и японцы, кто турист, кто по делам, спортсмены, артисты и т. д. Сестренка, я никак не привыкну к тому, что ты теперь замужем, теперь и мне можно, но не за кого. Я так боялась, что ты уйдешь в монашки, в монастырь. Слава Богу, теперь у меня будут племянники!»

Я шла по осенней улице из универа в гостиницу «Моряк», шла установочная сессия, шли трамваи с Первой речки, шел 1969 год с развешанными повсюду призывами и плакатами к столетию Ленина. В радиостанции «Тихий океан» немолодая импозантная журналистка с сигаретой, окинув меня пренебрежительным взглядом, сказала: «Учиться надо было, учиться!» Это на мой вопрос: «Вы не знаете, где Саша?». Затянулась, красиво выдохнула, добавила: «Саша работает...» Да, он завел меня, как двигатель, и решил, что дальше я качу сама. В комнате гостиницы я закрылась от всех какой-то случайной книжкой, автор Михаил Анчаров. И вдруг прочитала в ней: «Жизнь есть трагедия». Ура!

Единоутробный брат «Урицкого» — «Хабаровск» — был чуть поновее и побелее, ковров внутри побольше, обслуга в форме по-советски: черный низ, белый верх. Никто не шатался, не смеялся, все были строго на своих местах, особенно во время таможенного досмотра. Но в вечер перед отходом я еще погуляла по Находке, которая по местной поговорке «Находка — пыль да водка». Осенний ветер швырял желтые листья охапками в лицо, а я шла торжественная, как пионер, завтра в Японию! Где там мои одноклассники в далекой Рязани, смотрите, завидуйте!

В первый же день поняла, что «Урицкий» был просто веселой деревней, курортом, а здесь, особенно в день отхода, по судну носились две фурии — пассажирский помощник и старшая номерная, белым платочком проверяли каждый уголок, гоняли, ругали, учили, указывали, ты делала все, а работы только прибавлялось.

Старшая — женщина крупная и яркая, как клоун, шестимесячная завивка горела рыжим огнем, грудь, зад и живот обтянуты цветастой материей, голос — иерихонской трубой с кормы до носа. Потом я поняла — панически боялась пассажирского. Еще бы не бояться!

Несмотря на украинскую фамилию, никогда не улыбается, ни одной эмоции на лице, такой скучный бухгалтер, роста ниже среднего. Маленькие мужчины лепят свое величие из всего, что под руку попадет. Под рукой было десятка два рабынь, и он царствовал, не давая ни грамма мужского обаяния в обмен. Сидел в администраторской сутками, ножки до пола не доставали, но внушал ужас и омрачал жизнь.

В нашей жизни был еще таможенный досмотр. Наверно, пассажирский помощник рассматривал его, как незаслуженный отдых для рабочей скотины — два или больше часов переминуться на уставших ногах, не смея отойти ни на шаг со своего поста на трапе, на переходе или возле внутренней двери.

Но мне повезло, мой пост находился на лестнице между палубами первого и второго классов, а там висела громадная, нарисованная маслом в махровой реалистической манере, то есть дотошно, с мельчайшими деталями, картина «Москва. Красная площадь». Наверно, художник срисовывал ее с фотографии, поэтому свою фамилию не поставил. Из месяца в месяц, из досмотра в досмотр я гуляла по всем живописным местам и закоулкам этой картины, уходила в нее и забывала, кто я, где я.

Да, реализм — это крепко! А моя жизнь — это все зыбко и нереально. Солнце в Рязани и Москве, в общем, в Европе, светит не так, как на Дальнем Востоке, оно светлее и радостнее, и все вокруг от него просторнее, а дома, какие дома! Каждый со своим лицом, своим двором, своими деревьями, никакого панельно-бетонного однообразия. Однажды видела здесь дом на двенадцать подъездов, серой стеной на километр.

В Находке с палубы темным вечером гадаешь, почему городские огни — кучка здесь, кучка там, а между ними черные пространства? А! Это сопки, неосвоенные камни без единого огонька жизни.



Посейдон с синими кудрями и с трезубцем баламутил море. Мы уже прошли Сангарский пролив и пошли вдоль Хонсю к югу этого острова. Хорошо, что у меня есть Атлас мира, а то ведь никто не рассказывает ни о чем, а я так любила в школе географию! Учительница была типа нашего пассажирского, свирепая, пятерки — никому! Прозвище — Шука. Может, потому и запомнилась, запоминаются именно такие. Япония на карте нежно-сиреневая, изогнутая, причудливая рыбка. А сверху Камчатка в виде камбалы, Сахалин — серый морщинистый минтай, Курилы — рыбы, нарезанные кусками для подачи на стол.

Саша Зыкина уже считает какие-то японские монетки. Она тоже студентка ДВГУ, но с дневного отделения, восточного. Выходит, им еще на учебе визу открывают и они плавают вроде как на практику по языку? Странно, один Саша пропал, другая появилась. Поражает своей деловитостью и практичным подходом ко всему на свете, все время поет или смеется, а если ругается, то легко, шуточно, научиться бы у нее! Помню, что перед выходом на японский берег я расписалась за несколько монеток.

— А сколько это на наши?

— Три рубля, — засмеялся кто-то.

В порту Иокогамы все было промытым, ярким и аккуратным, как в детском конструкторе. Красиво, скучно. Потом наша группа как бы всплыла в такое же яркое, многолюдное, шумное, торгово-ярмарочное море, в котором запрещено растворяться, но держаться монолитом со своими просто невозможно. Главный в группе рулил к дешевым лавкам, где все, как по команде, закупили невесомые, прозрачные косынки и чулки в сеточку, некоторые по десять штук. Я, как обезьяна, сделала то же самое, но по одному предмету, похоже, у них было больше денег. У меня иены кончились, потому что японец-продавец соблазнил диковинной открыткой с объемным кораблем, меняющим ракурс и как бы движущимся. Я была счастлива, но кто-то покрутил у виска. Зато теперь мне незачем было толкаться у прилавков, высматривать добычу, я была свободна от страсти наживы и наконец оглянулась вокруг.

Это бойкое место — наверно, у японцев был обеденный перерыв — напоминало чудесный детский хаос, броуновское движение радостных лиц, светлых одежд, мотороллеров и велосипедов, воздушных шаров и облаков. Даже ящички для мусора были полны чем-то чистым, ярким, диковинным, хотелось порыться в них и что-нибудь присвоить. Все какое-то ничем не огороженное, все двери распахнуты, тенты над столиками и стульями трепещут от ветерка. Хотелось плакать... Неужели, как в детстве, давно этого не было, чувство, что сейчас, сейчас это накатит, когда вдруг становишься огромной, как весь мир, не собой, маленькой, глупой, и все вокруг странное, чудесное, совершенно отдельное от тебя, а ты стоишь, как будто на перекрестке миров.

Моя группа возвращалась на пароход. Все болтали о ценах, о покупках, я плелась сзади, в общем, «ехали с ярмарки», с праздника в будни.

И у нас бывают, например, демонстрации, День Победы, фестивали всякие, а вот так вот, совершенно бесцельно, не к дате, а просто так, ради жизни, не ради будущего коммунизма, не ради труда во благо чего-то, не ради памяти героев, а ради того, что море все в белом бисере от слепящего солнца, что лица у японцев, как у суровых детей, и рост детский, а улыбаются, как сквозь слезы. И улочки эти торговые, трогательно-детские, как из цветной бумаги — дунь ветер посильней, и все цветным мусором унесется прямо в Тихий океан. У них с детства готовность ко всему, что бы ни случилось. «Девушки из Такарацуки» — кино японское, смотрела восемь раз и еще бы пошла... «Легко ли состоять из ряби и зыби, из бликов?»

А «главные» в группах без конца демонстрируют свою бывалость, ташат, как на буксире, туда, где без конца «икураэдэсука?» — «сколько стоит?» Хоть бы один — в музей, в парк, на набережную. Нет! Только к корыту! Вот они — советские, передовые люди планеты, в нищете и убожестве, которым по два года визу открывают, изучают до седьмого колена, а они хотят одного — вещей, которых навалом здесь, у передовых народов.

Это получилось само собой, легко и незаметно. Группа направо, и я направо, группа вперед, и я вперед, но между нами один-два японца, потом больше, и я уже не вправо, а влево, бессознательно, как птица из клетки. Языка не знаю, иен нет, СССР далеко, пусть! В полет! Уже и улицы другие, и народ не шагающий, а деловой, строгий, спешит. И я лечу, озирая с восторгом чужеземные окрестности, все интересно и странно! Уже не лавки, а что-то капитальное — госучреждения, банки, офисы, многоярусные мосты-дороги высоко над городом, как у фантаста Ивана Ефремова в городах будущего. Страшно стало, ведь предателем назовут, перебежчиком... И холодно почему-то, одиноко... кто я здесь, без своих?

Вдруг увидела большой книжный магазин. Погреться! Зашла, блеск обложек, открытый доступ, продавцов не видно. Заметила шикарные альбомы художников, с робостью листала, вдруг отнимут, прогонят, как нищую. Наткнулась на небольшой проспект импрессионистов, прижала к себе и протянула появившейся японке-продавцу на ладони все свои иены. Боже, как она на меня смотрела! словно за полминуты увидела русскую Рязань, бедную семью, эту девушку в скромном платье не по осеннему сезону, эти жалкие монеты на ладони. Я уже собралась вернуть проспект на прилавок, но она прижала его ко мне, а своей рукой закрыла мою ладонь вместе с деньгами, мол, не надо ничего, бери так! Улыбнулась, поклонилась по-японски, проводила до дверей. Как в немом кино.

За этот час свободы я пережила заново всю свою жизнь, передумала тысячу мыслей, перешла как бы в другой возраст, поближе к мудрости, а моя группа была на той же улице со своими сумками, свертками, своим «икураэдэсука». Они просто не заметили моего побега...

«Дорогие мама и Лена! С праздником вас седьмого ноября, здоровья, счастья, а тебе, Лена, особенно! Может, будущим летом я приеду в Рязань и поняичу твоего первого ребеночка, ведь он должен родиться весной? Привезу ему японские игрушки.

Моя жизнь сейчас прикована к двум городам — Находке и Иокогаме, они такие разные; хотя оба на берегах Тихого океана. Находка — большая деревня, типа нашего Скопина или Льгова, только холодней и неуютней, центральная улица — крошечный тупик с магазинами и Домом культуры моряков, где всякие кружки, вечера, танцы. Еще из достопримечательностей — колхозный рынок и огромная барахолка, на которую ездит весь Приморский край, с товарами из разных стран, моряки привозят. Находка все-таки открытый город, доступный всем, а Владивосток — на замке! В общем, милиция не гоняет, и можно ходить с одним рублем в кармане, как на экскурсию.

«Удивленный зрелищем живых разнообразных людей», — как сказал писатель Платонов, я его недавно открыла. Учиться в ДВГУ очень трудно, тем более на заочном, но зато какой профессор по зарубежке! Электрон Григорьевич Дементьев! Рассказывает по аудитории курящим и с саркастической усмешкой рассказывает мифы Древней Греции, как личные истории из своей жизни. Студентки — ни одного парня на курсе! — раскрыв рот, слушают, что Афродита-Венера носила пятьдесят второй размер и была стервой, каких в основном и любят мужчины. Два часа рассказывает — никто не пошевелится, все влюбились, и не вредный, тройку всегда поставит. Но хочется выучить на пять!»

Вдруг — в декабре! — в воздухе диковинной бабочкой запорхало слово «Гонконг». Перелетает из уст в уста, будоражит, надо бы хоть на карту взглянуть, что это? Но я вся в работе, в учебе, первая университетская сессия на носу... какой-то Гонконг, с туристами, встречать Новый год, рейс «Из зимы в лето», что-то типа Сингапура, международный порт на самом низу материка. Или нет? Город в Китае, но английский, колония. Неужели в двадцатом веке есть колонии?

Плывем по «блинам» с пенистыми сахарными краями, все море в блинах — первый этап замерзания воды... Эх, неграмотные мы! Чувствительно качало дня два, а потом я поднялась на шлюпочную палубу и вдруг увидела осенние поля и силуэты далеких гор цвета шалфейного, сумеречного дыма, и запах, как будто жгут картофельную ботву на убранном поле или затопили печку смолистыми дровами. Все было прозрачно-серым, призрачным, родным и грустным, как будто плыли не мимо чужеземного берега морем, а по реке Оке мимо Рязани.

Это Корея? Или Китай? Сбегала в каюту за картой — названия Чумунджин, Йондок, Йосу, Хэджу — другая планета. «Сумрачен и неподвижен взгляд, лапти наши, но из рыбьей шкуры, из крапивы у него наряд, на халате странные фигуры...» И тепло не по-нашему, декабрь у них — осень, и так тихо на этом краю земли, хотелось думать стихами: «Как очарованный у мачты я стоял...» Где ты, Саша? Осенью листья и звезды падают, а ты, человек, стой! Может, и природа только выживает на космическом теле Земли, как и люди, радуется своей жизни, своим листикам-цветочкам, своим крыльям, лапам, хоботкам, знает, что повезло, только здесь, за тоненьким одеялком атмосферы, а там, в космосе — никогда.

В китайско-английском международном порту Гонконг наступал новый, 1970-й, год, а на территории СССР — теплоходе «Хабаровск» — еще и год столетия В. И. Ленина. Белоснежный, обвешанный, кроме главного, красного, с серпом и молотом, сотнями разноцветных международных флажков от киля до клотика теплоход медленно вдвигался в заполненную кораблями бухту и на безукоризненно-синей материи моря смотрелся волшебной сказкой Александра Грина. Русский оркестр из длинноволосых, странно одетых музыкантов расчехлял свои медные инструменты и пробовал их голоса, чтобы разбудить англичан и китайцев неожиданно грянувшим маршем «Прощание славянки», выбивавшим слезы даже у тех, кто слышал его много раз.

Я смотрю со своей любимой шлюпочной палубы на лес небоскребов, темно-синий внизу и розово-оранжевый в кронах, мимо него скользят джонки с перепончатыми парусами, как древние, сохранившиеся только здесь морские животные. Бегу в каюту за альбомом и карандашом, схватить первое впечатление. Вот видишь, мой бедный отец, сижу — рисую город Гонконг на ста островах Южно-Китайского моря. Вот сбываются иногда сны отцов в жизни их детей, глядят твои потомки глазами пещерных предков на новые миры, жаль, нельзя спросить их: ну и как? Может, и я когда-нибудь... Мне скоро двадцать семь, надо скорей рожать детей, чтобы из нездешнего далека смотреть их глазками.

И прошел Гонконг, как кино, заснятое с палубы «Хабаровска», в город сводили один раз и опять только в торговые ряды, чтобы как-нибудь спустить гонконгские доллары на дешевую ерунду. Плыли на большом пароме между островами-улицами, сидели рядом с чинными белыми людьми английского вида с портфелями и газетами на английском. Это русские суетятся, подпрыгивают, громко разговаривают со знакомыми и незнакомыми, а эти сидят, инопланетяне, мы для них те же китайцы, коммунисты.

Проснувшись в пять утра в новом году и выбежав на палубу с мусорным ведром, я взглянула на неспящие разноцветные рекламные огни и подумала, что все сбылось, о чем мечтали с Людой Рогозинской (где она?) в Доме культуры моряков

Владивостока. И диплом техникума, и ДВГУ, и виза, и Япония с Гонконгом, и даже любовь! Сбылось суеверие!

И вот уже отплыли пограничники, по радио громко: «Боцману на бак!», на прогулочной палубе туристы в лентах серпантина, так здесь положено. А мы, обслуга, на шлюпочной, высоко, и откуда-то на нас теплый, сильный, постоянный, словно из калорифера, ветер. Платья трепещут вокруг ног, волосы то вздымаются, то опадают и снова вверх. Мы купаемся в этом ветре, как в струях теплой воды, кто послал это явно живое существо, какой китайский бог решил поиграть с русскими молодками, чтобы они вспоминали его всю жизнь, ведь у них, бледнолицых, с севера, такого ветра не могло быть. Только здесь, в блаженных широтах!

А когда «Хабаровск» уже выходил из бухты, богатый Гонконг расщедрился еще на одно незабываемое — казалось, прямо из моря на огромной скорости взмывает вверх большой белый самолет, белая птица на синем шелке, и вот уже рокочет над нами и растворяется в небе. Оказывается, взлетная полоса аэропорта идет от берега далеко в море, узкой, неизвестно на чем держащейся полоской.

Плывем назад, из южно-китайского января в январь русский. Холодные сквозняки, качка, ведра с водой ездят по палубе, опрокидываются, заливая километры коридоров, в столовой мокрые скатерти, чтоб посуда не билась, еда попроще, наглухо задраенные иллюминаторы и двери, за которыми воеет, ухает и свистит Нептун с всклокоченной гривой. Музыкальные инструменты убраны с эстрады, и музыканты ходят с обходными листами. В очереди за утюгом говорят о часах прихода, о рейдовом катере, о последних электричках, с которыми можно попасть домой. Аркаша-переводчик бает, как пришел из рейса в час ночи, а жена не открывает, говорит: минуточку!.. В каютах беспорядок, вещи разбросаны, чемоданы раскрыты.

— Слушай, возьми у меня пальто на время досмотра, а то у меня два, не пропустят.

— А ты не знаешь, надо ли прятать литровую бутылку виски, вдруг таможене не понравится?

— Кому это может не понравиться — английский виски «Белая лошадь»?

Все это я вижу и слышу, когда ползу, уставшая от работы, в нашу каюту. В ней пусто, но гремит трансляция: «Будет людям счастье, счастье на века, у советской власти сила велика». Сразу взбадриваюсь, бодрость — это наша советская религия. И хорошо! Мне через неделю на сессию, значит, береговая жизнь! Ура!

Да, ради «немножко пожить на берегу» в чистой, уютной, с огромными окнами на бухту Золотой Рог гостинице «Моряк» стоило учиться заочно и с бумажкой-вызовом на сессию бежать в «кадры» и получать право на койку в четырехместном номере. Прямо себе не веришь, когда в самом центре города открываешь стеклянные двери, идешь по коврам, отражаясь в зеркалах, здороваешься с дежурными, берешь ключ от комнаты... и тебе не нужно ничего убирать, мыть, чистить, ты — человек, живущий в гостинице, почти барыня! Нет, героиня из романов Ремарка и Хемингуэя.

В университете, в густом броуновском движении студентов встречаю Сашу Зыкову, она тоже списалась с «Хабаровска», сдает хвосты на своем восточном факультете, ведет меня в свое общежитие, без конца здороваясь, смеясь, маша рукой. Про меня говорит:

— Вот! Морячка! А тоже учится!

В общем, ведет меня, как какую-то дичь на веревочке, так на меня и смотрят. Красная, как рак, я по-английски смываюсь. Спускаюсь по Океанскому, иду по Ленинской, вижу трамвай на остановке, бегу к нему и успеваю поставить на подножку одну ногу. Дверь закрывается и трамвай едет, постепенно прибавляя ход. Он

волочит меня по снежной трассе метров пятьдесят, пока кто-то внутри не кричит водителю, чтоб остановился. Дверь открывается, и я, заново рожденная, ковыляю на обочину. На меня смотрят с ужасом.

— Ничего, молодая, — говорит кто-то, — заживет, как на новенькой.

Чулка на одной ноге нет, стерся о дорогу, но крови почти нет, и вообще ничего не болит, но ошарашенность дикая. Я где-то сижу, обматываю ногу шарфом, хорошо, что зимой темнеет быстро. Давно заметила, что любая встряска только прибавляет мне сил. Как написала мне однажды моя верующая сестра: «Бог пасет людей железным посохом». Наверно, так надо.

А вечером того же тринадцатого января в коридоре вдруг — Саша. Оказывается, живет в нашей гостинице. Смутились, промычали друг другу что-то и разошлись по своим номерам. И все-таки как хорошо, что он не уехал в свою Одессу, в свою Москву, в свой Литинститут!

На следующий день все праздновали Старый Новый год, а я, надев очки, писала шпаргалки по современному русскому. Кто-то постучал, поманил выйти. Саша! С трудом вынырнула из предмета, пошла за ним, очутилась в накуренном номере с празднующими парнями, которые группировались возле эльфоподобной блондинки, узнала соседку по нашей комнате Лиду. Девушка тоже курила и без конца прикладывалась к бокалу с вином. Из магнитофона звучал Высоцкий, и разглагольствовал солидный мужик в костюме и рубашке с галстуком-бабочкой.

Я и не догадалась, что в этот Новый год мне показали картинку моего будущего на много лет. Той зимой под завыванье метели, свист ветра, скрип снега начиналась моя новая жизнь. Саша, одетый и обутый во что-то хлипкое, продуваемое и протекаемое, короткими перебежками таскал меня в компании, где пили только вино, а еды почти не было, зато вдоволь поэтов, журналистов, деятелей чего-то авангардного, людей с большими целями, незабываемых чудачков и чудиков всех мастей. Тот, солидный, держащийся лидером человек с галстуком-бабочкой оказался театральным режиссером Валентином Шубиным, и когда я робко вставляла в какой-нибудь заумный разговор «свои пять копеек», он слушал, как голос простого народа, не перебивая.

Однажды вечером какие-то нарядные бандитки, курящие на лестнице, приперли меня к стенке, шипели что-то пьяно-неразборчивое, выдыхали дым в лицо: «Откуда ты взялась, такая-растакая, б...?» «Из Рязани, где грибы с глазами, их едят, а они глядят», — это я тяну время, чтобы кто-нибудь появился, спас, хотя больше удивилась этому наезду, чем испугалась. Поскалилились, не тронули, так и не поняла, что это было посреди ковров и зеркал в роскошной ведомственной гостинице. Может, еще одна кратковременная любовница Сашки с подружкой? Но ведь мы с ним теперь просто друзья.

Эльфоподобная Лидка Пономаренко слушала мои судорожные вздохи и высказалась ледяным тоном: — Жалко тебя, от своих отстала, а к другим не пристала, закрути роман с Шубиным, может, Сашка заревнует и вернется.

Надо же, моложе меня лет на пять, такая дивная внешность, а советы бабы, первобытные. Забегая вперед: Лида прожила короткую жизнь, но успела вырастить двоих детей, умерла от тоски по сгоревшему от рака мужу и от алкоголя. Спившейся русалкой...

С утра — в университет, изучить и сдать такое неудобоваримое для моих мозгов — старославянский, древнерусский языки, логику, историческую грамматику. За безобидными названиями бесконечное расчленение, дробление, усложнение понятного на что-то анатомически-математическое. Уныло мечтаю: мне бы выучиться на художника, но заочного такого нет! Только через шесть лет открою, что есть! Заочный институт культуры имени Крупской. И закончу его, и получу по почте диплом!

Саша сказал, что перешел жить в другое место, привел в эту новую гостиницу и куда-то вышел. Я обошла весь номер, увидела что-то замоченное в раковине и простодушно перестирала пар десять мужских носков, развесила сушиться на батарее. Боже, как они с Шубиным хохотали, открыв мне, что носки и номер Шубина, а Саша живет на пароходе «Крильон», что на вечной стоянке в центре и тоже используется как гостиница. Потому что только половина, а может, и меньше, жителей Владивостока барствуют в своих квартирах на берегу, а остальных носит где попало, где посчастливится. Скитаются с детьми, со скарбом в чемоданах...

У меня столько событий, а на «Хабаровске» все, как шло, так и идет, как ни в чем не бывало: пассажирский пом Бондарь наполеонствует, пассажиры укачиваются, пачкают и мусорят, музыка гремит, кино и танцы, и, как всегда, умиляют до слез и воспоминаний о детстве трогательные, между обедом и ужином, полдники — чай с булочкой или какао с оладушками. Социализм!

Восьмого марта все ходили пьяные и смешные. Я писала курсовую, одна в каюте. Злость и ненависть к людям и к себе душили меня. Всех прогоняла, на всех кричала, сбегала на палубу, под звезды, но холод прогнал. Вернулась, а за моим столом с учебниками сидит повар Степаныч, очень хороший повар, каюту, что ли, перепутал? Смешной, одинокий, пьяненький. Что-то сказал мне.

— Ненавижу пьяных! — сказала я гордо и выгнала его. Потом писала, и вдруг дверь снова открылась и закрылась. Я вышла со злостью, чтобы отругать, кто бы это ни был. Степаныч в белой камбузной куртке на полусогнутых ходил по пустому коридору, улыбался, пел, поднял на меня свои мягкие старческие глаза и что-то прошептал. Потом застенялся и скрылся. Такая жалость взяла меня от макушки до пяток, даже страшно стало...

Неожиданно чехи пригласили наш экипаж на свой концерт. Неожиданно, потому что совсем недавно, в 1968-м, советские танки подавили восстание в Чехословакии. Пришли все, мне досталось место в дверях, и я из-за спин проникалась чешским национальным искусством.

И девушки, и парни были как на подбор, глаз не отвести. Очень длинные деревянные свирели звучали нежно-нежно, а голос у певца сильный, манера смелая. Запахло высокими горами — зелеными альпийскими лугами, птицами над головой, простыми мужественными людьми. Девушки спели «Чешскую польку», которую все русские перетанцевали в школьной самодеятельности.

Потом наши присоединились, здорово сплясали и сыграли с ложечниками и балалаечниками. Наш оркестр играл репертуар дешевого ресторана, было стыдно за нас. А потом начались танцы, мы забились в уголок салона. Четверо японцев выпендривались посреди зала, особенно один, изящный, как девчонка, весь в кожаном, на пальцах перстни. «Гулял по Европе, — сказал кто-то, — у папаши денег немерено!»

А чехи танцевали замечательно, артистично, но ведь это и были артисты, да еще прошедшие строгий социалистический отбор для гастролей в капстране Японии. Вдруг вышел еще один чех, седой, полный, подвижный и показал всем такой буги-вуги-твист-шейк, что весь зал смеялся до упаду. Рядом с игрушечным японцем это был мужчина! Мой колокольчик во мне трясся и захлебывался, его на такие потрясения не хватало. Танец кончился, чех вытер лоб собственным модным галстуком, не снимая его, и смотреть дальше стало не на кого. Чехи — это мы, если бы у нас в стране было что-то по-другому.

Апрель семидесятого. В Японии расцвет сакуры и сплошное музыкальное мяуканье по трансляции для пассажиров-японцев. Подплываем к Родине — «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, в горе, надежде и в радости...» Сто лет — не шутка! Может, лежит в мавзолее, сам удивляется? Помполит бегаёт, словно сам

именинник, стенгазету заставил меня нарисовать, общесудовое торжественное собрание назначил, будет раздавать вымпелы победителей в соцсоревновании, почетные грамоты, Степаныч побалует яствами. А у меня какой праздник! Перед прошлым рейсом за пять минут до отхода вдруг появился Саша, сказал — в Находке по делам. А у меня в руках получка, почему-то выдали в день отхода за границу, куда с советскими деньгами нельзя. Я сунула всю эту кучу трешек и пятерок Саше: «Потом принесешь когда-нибудь». И вот мы возвращаемся, а он стоит на причале, машет мне какой-то книжицей, думаю, может, наконец, издали его рассказы, я тоже как-то помогала, искала эпитет к приморским тайфунам. А он торжественно протягивает мне тонюсенькую, бледно-голубую — хоть стой, хоть падай — сберкнижку! Не думала, что у меня будет такое, предмет не из моей жизни, целых сто двадцать рублей, на мою фамилию, и отчество мое, разве он знал? Значит, в отпуск поеду в Рязань! Вот какой он, Саша! Надо же, сберкнижка! Никогда не видела, думала, что и не увижу.

Третье мая — это был необыкновенный день, директор ресторана Василий Петрович прямо в порту остановил такси, сказал что-то по-иностранному, и мы понеслись цветущим майским днем на звуки духового оркестра. Почему он выбрал нас, трех девок, неизвестно, в сферу нашего общения не входил, только мелькал мимо администраторской в шикарном пиджаке, набитом деньгами всех стран. Чаевыми. Поэтому и такси, и мимо дешевых лавок — куда-то в неизвестную нам Японию. Наверно, деньги уже сами вываливались, надо было истратить на этих неизбалованных жизнью, заодно освободить место для новых доходов.

Майская листва светилась и трепетала, через улицы тянулись гирлянды фонариков, цветов и флагов. «День мальчиков, — сказал директор, — как у нас Первое Мая». Праздничная толпа утопила наше такси, пришлось выйти и окунуться в чужой праздник. Нарядные японцы, некоторые даже в кимоно, несли и вели за ручку восторженных малышей, иностранцы с фото- и киноаппаратами возвышались над толпой, перекрикивались. Из тележек торговали водой, мороженым, сладостями, трансляция разносила с эхом какие-то призывы и команды, прямо как у нас.

Василий Петрович перевел, что сейчас выступают пятьдесят пять колонн, пятьдесят пять духовых, военных, джазовых и национальных оркестров. Мы стояли возле трибуны городских властей, а мимо маршировали, бежали, танцевали, проезжали на лимузинах, в цветах участники демонстрации, колонна за колонной. Пятьдесят девочек-подростков с флейтами, пятьдесят коротконогих японочек, изображавших длинноногих американок в купальниках, пятьдесят испанок с веерами и розой в волосах, пятьдесят ковбоев на настоящих живых лошадях.

И вдруг раздались выстрелы, запахло мальчишеской потасовкой, то тут, то там падали, картинно валясь с лошадой, убитые и раненые ковбои, и кони испуганно топтались между распростертых в пыли тел. А вокруг смеялись, и хлопали в ладоши, и визжали, а ковбои поднимались, отряхивали штаны, поправляли пистолеты, уступали место следующей колонне. Оказалось, целый спектакль! Толпу смуглых, полуголых, с перьями в волосах индейцев расстреливали несколько картинно красивых американцев, но индейцы не падали, а гордо, величественно и обреченно, с каменными лицами продолжали свой путь. Молодцы японцы! Дух Америки пропитал всю вашу жизнь, но вы способны и на критику. Слава Богу, что вам не приходится критиковать наш СССР, ведь мы бы все восприняли всерьез.

Мы устали и стоять, и смотреть, и восхищаться. Хитрый хохол, такой же брутальный и смуглый, как индейцы, тут же уловил не то что снизившийся интерес, а почти уже тошноту от дурной бесконечности этих пятидесяти колонн-спектаклей, и, чтобы выбраться из толпы, пристроил нас в хвост пятидесятиметрового дракона

с разинутой, изрыгающей огонь пастью. И мы, из дикой Сибири, из дикого для здешних СССР, без цветов, вееров и флейт, с одними русскими улыбками, русской колонной бежали со слишком яркого праздника.

Наш командир посмотрел на свои массивные золотые часы, скомандовал: — Обед! — и повел в, наверное, кондитерскую. Не помню, что ели, но он смотрел на нас, как на детей.

— А в кино хотите?

— Конечно!..

Билет покупался один, но на весь киношный день, нас хватило на два фильма. Василий Петрович переводил нам и про адмирала Ямамото, и про странных лошадок величиной с собаку. Он сидел в нашем цветнике строгим отцом, и я его зауважала и за перевод, и за строгое поведение.

— Ребенок! — сказал он мне и схватил мою руку, засмеявшись на один мой вопрос, хотя я, спросив, ужаснулась сама себе. Просто недавно пролетел американский самолет, потом вернулся и опять, и еще раз, все ниже и ниже, почти касаясь мачт «Хабаровска». Десятки поднятых к нему лиц смотрели на летчика, а он словно смеялся над нашим мирным пассажирским теплоходом.

— Василий Петрович, а правда, говорят, у нас в трюме стоит пушка и снаряды к ней? Ведь Вьетнам... Америка...

Мы вышли из кинотеатра и зажмурились от солнца. Командир закурил, вопросительно посмотрел. Попроси мы у него еще чего-нибудь, он бы исполнил, но у нас уже не было сил. Спасибо тебе, судьба, за этот хороший день!

Осень. Какое счастье ходить по земле, по железнодорожным путям, асфальту, тропинкам, мостам, глядеть на дома, фонари, деревья — на весь крепкостоящий мир. Только моряки и космонавты могут понять это после морской и космической пустоты.

Я собрала целых триста рублей, спасибо Саше и его-моей сберкнижке, купила плацкартный билет до Москвы за шестьдесят пять рублей, взяла сумку с подарками и забралась на верхнюю полку скорого поезда, смотреть и мечтать.

Блудные дети в своих скитаниях без конца возвращаются домой, то в мыслях, то во снах, то в совершенно оторванных от реальности мечтаниях. Например, что твой город встретит тебя оркестром на вокзале и толпой восторженных одноклассников и дворовых друзей с букетами ворованных цветов. Как первую красавицу мира, национального героя или, на худой конец, нобелевского лауреата чего-нибудь. Мечты годятся хотя бы на то, чтобы через много лет рассмешить.

А она... Скажешь кому-нибудь, что работаешь на пароходе, тут же в глазах пренебрежение, чуть ли не брезгливость, добавляешь, что на пассажирском лайнере, за границу ходишь, мир посмотреть, и вообще на «пассажира» один только капитан — мужчина, и тот с капитанского мостика не спускается. И все равно ты хуже береговых, ну и черт с вами!

С каким удовольствием и счастьем я, какой-то несмышленный, вечно голодный, плохо одетый карапуз, смотрела во все глаза в первом своем поезде, году в 1947-м, на людей в вагоне, на то, что мелькало за окном, на пыльные столбы солнечных лучей, они перекраивали пространство, без конца высвечивали то одно, то другое, а поезд был не русский, люди смуглые, черноволосые, тощие, совали «ребенку» что-то засушенное, сладкое, вкусное. И столы, и лавки, и пол были заняты мешками, узлами, чемоданами, обвязанными веревками, но народ этот как-то ходил, смеялся, говорил по-своему, все женщины были в платках, в длинных платьях, и все какое-то цвета пыли, бежево-розовое, легкое, воздушное и не по-русски улыбочивое. Карапуз хоть и тарасил глаза, но ничего не понимал и забыл бы напрочь, но какое-то устройство внутри все записало на пленку и стало прокручивать в



снах, открывались даже новые детали. Например, было показано, что мама купила полмешка сушеных фруктов и с тех пор часто варила их, но не в воде, как компот, а в густом киселе, и это было лучшим лакомством!..

Так и пролежала на верхней полке семь дней, почти не слезая, вспоминая детство на фоне невообразимо могучих и прекрасных сибирских и уральских гор, лесов, рек, солнца, облаков и звезд. Скорый поезд «Россия» летел заволошной птицей сквозь необозримое пространство, оглашая его то басом, когда вез электровоз, то сиплой флейтой, когда впрягался чумазый паровоз на угле, и пассажиров этой бешеной скачки и качало, и шатало не хуже, чем на море. Сравнивала: ни японцы, ни англичане, ни немцы, ни чехи не хуже, не лучше, просто другие, русские хуже одеты, меньше улыбок, зато настоящие, от души. Поживи-ка в таком огромном, необустроенном пространстве — не до улыбок, битв «кто — кого».

Третий раз в Москве, и всегда только проездом, и всегда, только выйдешь с вокзала на огромную площадь, посмотришь вокруг — и восторг, и одна мысль: остаться в ней навсегда, любым путем. И я осталась, до первой утренней электрички в Рязань, ехать на ночь побоялась, не нашла бы их в новой квартире. Пошла по Москве, куда глаза глядят, счастливая, замороженная, сквозь толпы людей, яркие вывески, вечерние огни, красивые дома с музыкой из открытых окон.

Устала, проголосовала такси, чтобы вернуться на Казанский вокзал. За рулем была женщина с неприветливым лицом, по-летнему одетая, с оголенными уверенными руками. Через минуту она посадила в такси большого мужика в плаще. — Сибиряк! — представился он. Каким-то задним глазом я видела, как он положил свои лапы ей на плечи и погладил. — Какие красивые у вас руки... Давайте познакомимся...

Такси резко остановилось. — Выходи, — сказала мне таксистка, — вон там троллейбус...

И я послушно, как овца, вышла в совершенной темноте, не зная, где же я? Не сразу до меня дошло, что меня высадили, выкинули, как помеху...

— Тут уже толпа вокруг тебя собралась, а ты все пишешь и пишешь, цыгане под шумок твои вещи присматривали, я отогнала.

— Спасибо, — буркнула я, схватила сумки и убежала от этой своей славы-позора. Делать, что ли, людям нечего, как два часа следить... А ведь, выходит, написала первый рассказ в жизни, почти без вранья... назову «Московское такси». Никогда не знаешь заранее, когда настигнет просветление, вдруг в одну минуту перепрыгнешь на другую ступень развития, оглянешься вокруг — все другое!

В Рязани шел дождь, даже ливень, панельную пятиэтажку отыскала по наводке прохожих, вылила из туфель воду, расправила прилипший к ногам болоньевый плащ, покурить бы перед возвращением блудной дочери. Курю я редко, только в чрезвычайных обстоятельствах, но нечего их сразу пугать, церковнославянских рязанок. Ничем не обитая, деревянная дверь на первом этаже, без звонка. Постучала и ждала целую вечность.

— Кто там? — спросил слабый голос.

Я обомлела, все огни, воды и медные трубы сошли с меня в один миг — и я пискнула:

— Это я, мамка!

Наверно, по этому слову «мамка» она и узнала меня. Только ее дочери так называли ее. У нас в семье не целовали, и сейчас я только обняла мамку, маленькую и совершенно седую. А она с каким-то стоном тянулась ко мне, привставая на цыпочки. Вокруг мамки сохранилось мое детство — кровать с шарами, на которой спали все скопом, высокий почерневший шкаф, отец снится мне ростом с него, допотопный комод, куда прятали мой паспорт, чтобы я не уехала. А вот единственный венский стул, отбитый у отца, когда он проиграл его в карты. Стул похож на скелет

ископаемого зверя, этот карточный долг отца. Ни одной современной, новой вещи не было в квартире, вещам не с чем было сравнить себя, чтобы понять свою убогость, и они с осуждением смотрели на меня, молодую, нарядную, чужую.

Я доставала подарки.

— Ты лучше искупай меня, не могу сама...

Мыла как беспомощного ребенка, думала: это тело родило меня со всеми моими восторгами и слезами, не тело, а планета моя, земля. Потом розовая, распаренная мамка достает ключи:

— Иди, выбери себе чего-нибудь...

Исторический момент — впервые держу ключи от сундука, все-таки детские сны сбываются. Дубовая крышка со скрипом поднялась, и неведомые сокровища открылись миру.

Только бы не рассмеяться, не заплакать! Юбка, обшитая лентами, в ней танцевали в школьной самостоятельности «чешскую польку», пальто времен Первой мировой из бостона, пуховая шапка с длинными заячьими ушами, пух остался только на макушке. А вот прозрачная от ветхости праздничная скатерть и вышитые салфетки, сотни раз глаженные нашим чугунным утюгом-пароходом. А это, неужели?.. Мой первый наряд для первомайской демонстрации — крошечное, шелковое, в красный горошек, платьице... А вот и платье-призрак, платье-мечта — розовое, солнце-клевш, замочек на талии — подарок от американских союзников в 1945-м, никем не надетое, никому не дала надеть наша бедная мамка, хранила взаперти...

Лучше платья только эта вот шаль-ковер. Дома был неласковый, темный от икон и скандалов мир, и я убежала от него или на улицу, или в этот ковер, прибитый на стене. Причудливый рисунок из цветов, листьев, огурцов, завитушек, дорожек, крапинок из ярко разноцветного, густого постепенно выцветал на стене, но становился почему-то все таинственнее и прекраснее. Конечно, это вещь отца, художника, достал где-то такое чудо, купил, украл? Ковер исхожен глазами вдоль и поперек, огурчики все сосчитаны, сначала по пальцам, засыпаешь счастливой, мир — чудо-ковер. Как трудно дышать запахом нафталина, щиплет глаза, а мамка смотрит выцветшими глазами, улыбается слабой улыбкой: что же ты, дочка, бери! Пока дают... Положила первомайское платьице себе на колени. Обиделась мамка, засуетилась:

— Отрез возьми, — подергала его, — такой материи уже не делают, сносу не будет...

— Ма, а кто тебе «скорую» вызывает?

— Соседи, Леночка приходит... Ей Колно грудью кормить, некогда... Свекровь хорошая. Юрка ее пьет...

Говорит мамка трудно, в горле что-то булькает и хрипит, воздух выдыхается со свистом. Посмотрела на меня заискивающе: — Теперь ты дома останешься, трудно по общежитиям, на краю света, квартира теплая, мебели сколько! Леночке не до меня.

Я постелила себе на сундуке, на котором всю жизнь спала, мамка всю ночь дремала сидя. Утром поняла, почему так тесно: лекарства заполняли все пространство, даже на полу бутылки, пузырьки, коробочки. Этим же вечером пришлось вызывать «скорую». Когда я забирала ее одежду в больнице, спросили:

— Внучка ваша?

Мамка застеснялась по-детски: — Дочка...

Ночью сурово и безжалостно глядели на меня Бог и святые из темного иконостасного угла. Я зажгла висающую там лампадку — стало еще страшней, засверкали глаза, зашевелились губы: — Бог на дыбе висит! Какое право ты имеешь быть счастливой? Тащи крест, пришей себя и виси. Чувствуешь? То-то же! Вот так и виси

лет до ста. Без наркоза. Бог — идеал, все должны стремиться, любовь — только духовная. А тебя трясет от прикосновения к любимому, стыдись!

Тут в окно кто-то постучал. В час ночи. Окно на первом этаже. Я застыла, боясь обнаружить свою одинокую женскую тень. За окном зашуршало, это был дождь! И ветка дерева под ветром стучала по оконной раме. Господи, как отвыкла я в своей морской жизни от обыкновенных земных чудес! После десяти лет общезжитий, где я была ничья, сама по себе, вдруг оказалось, что я часть какого-то рода, целого племени, и у меня снова есть дом! И вдруг мне показалось, что отцовский шкаф, неуклюже наклонясь, вместе со мной рассматривает фотографии в альбоме, его я нашла на старинной этажерке, которую отец однажды в гневе выбросил в окно, потом сам отремонтировал. Я неумело перекрестилась и незаметно заснула, не выключив свет. Потом поняла свои страхи: я была в ту ночь одна в церкви — мамкиной комнате, полной икон, церковных книг с закладками, лампадок. Говорят, возле церкви поле плохое, слава Богу, что Вий не явился.

От монашки у Лены осталась только лексика: Господи, прости! Матерь Божья, Ангел-хранитель! Бегает по дому в халате, мокро на груди от льющегося молока, командует всеми с шести утра до ночи — мужем, свекровью, мамкой, всеми! Коленька машет из кровати руками в зашитых рукавчиках, чтоб себя не поцарапал. Глаза синие, бойкие, всем улыбается, иногда мне дают подержать. Наверно, от Саши дети красивые и умные. Были бы...

Сестра сказала, что квартира, чтобы съехаться с мамкой, уже найдена, трехкомнатная, с большим балконом, магазины рядом и даже большой колхозный рынок. Хорошо, что я не успела сказать, что мама звала меня жить к себе. Выбор сделали без меня, я вздохнула с облегчением, что бы я делала в Рязани? Чужестранка...

Всего неделю назад из Японии, а тут сплошное сухопутье, купола и маковки церковей, яблоки, помидоры и грибы — ведрами, картошка — мешками, вся Рязань в цветах, можно не покупать. Улицы полны пожилых и совсем древних рязанцев, а молодежь совсем не такая, как во Владивостоке — проще одеты, беспечнее и наивнее.

Лица с печатью древнерусского воспитания, сплошь патриоты, встретился даже иконописный юноша в холщовой длинной рубахе, подпоясанный веревкой. Смотрел на мое остолбенение с гордостью, потом подмигнул, скоморох! Наверно, шел на обычное вечернее столпотворение молодежи на набережной, возле старинного рязанского Кремля. Там читают Есенина, танцуют, дерутся и пьют, пьют, пьют. В здешнем климате можно ночевать под кустом, под березами, на лавочке в неисчислимых скверах и парках, и они валяются везде, пока родные не подберут, сердобольные, некурящие и непьющие бабы рязанские.

Только через много лет, в лихую перестройку, столкнулась с пьяницей, а она, грязная, пропащая, застеснялась так по-детски, хоть плачь. И я молча сказала ей: — Иди себе, пьяная баба. Кто я такая, чтобы смотреть на тебя с ужасом? «Земля — место жизни, а не суда».

Я носила мамке в больницу виноград, заплетала ее серебряную тощую косичку, мыла пол в палате на четверых. Мамка капризничала, ругалась с соседками из-за сквозняков и их безбожности, заставляла меня рассказывать всем о моей работе, зарплате, гордилась своей молодой, самостоятельной дочерью. А мне казалось, что боится: вдруг перестану ходить к ней, как не ходила я, школьница, вечно занятая в каких-то кружках и спортивных секциях, отчужденная и не верующая в Бога.

Лена в это время оформила документы для обмена и перевезла кое-какие вещи. Всю мебель выбросила, даже исторический венский стул. Икону с лампадкой, правда, пристроила в какой-то уголок. Чтоб рязанка да без икон!

А я еще съездила в Ленинград и несколько дней пожила у давней подружки из Уссурийского техникума Вали, все время читала ее дочке сказки и услышала:

— Тебе пора ребенка родить!..

Валя запомнилась грустной, одинокой, не придающей значения своей красоте женщиной, все время в новых невзгодах. Мы даже ни разу не погуляли с ней по городу, она работала и боялась потерять место. В последний день мне повезло купить страшный дефицит — переносной, всего килограммов семь весом, магнитофон «Дайна» и три огромные бобины с пленкой к нему. Счастливая, покатила в Москву, а потом снова на неделю в любимый плацкартный вагон поезда. Как будто на новую родину, где будет все-все-все!

Какое «все-все-все»? Когда после недели в поезде выходишь с чемоданом с вокзала и думаешь, куда же податься? Нигде не ждут, никакой крыши над головой... А глупая счастливая улыбка сама собой рвется с лица: — Здравствуй, Владивосток! Какой ты большой, просторный, ветреный, красивый и мужественный! Рязань — женщина, а ты именно мужчина!

И я работаю в мужской организации — ДВМП, туда! В кадрах, как всегда, толкотня, табачный дым, неожиданные встречи, восклицания, разговорный шум. Контторские цыпочки на высоких каблуках порхают со своими бумажками, кокетливо пробираясь сквозь толпу простого морского народа. Меня определяют на «пассажир» «Приамурье», однотипный с «Урицким» и «Хабаровском», но подошел срок очередной медкомиссии, поэтому: — Вот вам направление в межрейсовую гостиницу «Моряк».

В общем, все, «ура!», только комиссия... надо срочно повторить глазную таблицу, этот кошмар, обман, к тому же, нехорошие предчувствия...

Больница ДВМП огромная, кабинеты на разных этажах, врачи вальяжные, внушающие робость, скорей бы отсюда. Окулист — изящная, с нежным голоском, после проверки таблицей вдруг спрашивает:

— Очки никогда не носите?

Мое сердце ухает вниз, молчу, краснею, это конец! Врачиха размашисто пишет в моей медицинской карте приговор, за окном летят осенние листья, денег нет, работу с общежитием найти трудно, опять скитаться... Окулист вдруг что-то говорит странным мечтательным голосом. Про какой-то кофейный сервизик. Спрашивает:

— Наверно, в Японии есть?

Я тупо киваю своей тупой головой, краснею еще больше. Но кто-то более умный во мне говорит: — Конечно, конечно, привезу...

Наверно, даже после лишения девственности я не была такой «не в себе», не иду, а плыву, медленно возвращаюсь в прежнюю жизнь. Нет, прежней не будет, я как бы покачалась на весах, и повезло, не упала! Кофейный сервизик — я даже не знаю, что это такое — перевесил. Как уехала из дома, так и живу на каких-то весах. Качаюсь.

Очнулась я возле памятника «Борцам за власть Советов», словно забежав на десяток лет вперед, правильно, шла на новый главпочтамт. Но красивый, шумный, любимый главпочтамт тогда еще стоял на Ленинской. Даже к окошку «До востребования» стояла очередь. Большое ласковое письмо от Саши, полное шуток и поцелуев перебило ужас от взятки в поликлинике, и я встала в очередь к окну «Телеграммы», извивающуюся змеей не меньше, чем на час. Вот и Саша, пожив где попало целый год, пошел искать приют в море. Со своим высшим морским устроился на плавбазу «Десна» и когда придет — неизвестно. Но ведь не вернулся домой в Одессу! А ведь там родители, первая жена, сын. Как-то обмолвился, что жена уже вышла замуж. Но мне все равно. Я не ищу, не выбираю, посмотрю только, и ясно — не мое! Кто-то внутри знает лучше, и про Сашу сказал мне: — Твое!

Очередь подвигалась еле-еле, вдруг запахло яблоками. Сестра тоже однажды послала мне посылку с яблоками, но я была в рейсе, и они испортились. А в Рязани я всех удивила, съев яблоко вместе с огрызком и ножкой у них на глазах: — Вот так едят яблоки на Дальнем Востоке! Смеялись.

Рязанский таксист однажды спросил: — У вас там тигры по улицам ходят? Если бы я не уехала сразу после десятилетки, то превратилась бы в городскую сумасшедшую, которая весной бегала бы по лугам и колхозным полям в поисках своего Владивостока. Наверно, только в этом мы сходимся с Сашей, не все эмигранты уезжают так далеко от места, где родились! Живут без детских друзей, без единого родственника, могли бы вообще не делить землю на страны, и границы не нужны...

Саша вообще как-то не знает страха ни перед чем, ни перед кем, но совершенно не нахальный, матерится редко и без злости. Нежадный, крошки не съест, не поделившись с другим, но благоразумный — последняя десятка где-нибудь хранится, и вообще — из тех, кто пройдет между струями дождя и на него не упадет ни капли.

Я — наоборот, упадет с неба одна капля, обязательно на меня. Если ему понадобится — остановит поезд, даже самолет за минуту до взлета, это пахнет нечистой силой. Любит детей, людей, животных, и они его, но природу не замечает в упор, слово «пейзаж» — просто набор букв. Погладишь ему рубашку, зашьешь дыру в кармане, даже почищишь ботинки — благодарности не жди, вообще даже не заметит, живет по поговорке «человек должен быть веселым, голым и худым». Если нарисовать его, сам собою получится Гермес, покровитель пастухов и путешественников, в крылатых сандалиях, дорожной шляпе и с жезлом в руках. Да, жезл власти тоже есть.

Недавно включила радио в номере гостиницы, а там его голос прорывается сквозь пространство, ветра, гудки пароходов, треск радиопомех. Чудо! Это радиостанция «Тихий океан» передавала репортаж своего внештатного корреспондента из района лова, с плавбазы «Десна». Странно, его голос и вот эти письма не соединяются, — как бы от разных людей, один «целует, скучает, ждет встречи», другой не знает ни имени моего, ни лица, я не то что не нужна ему, а вообще мешаю его полетам и в эфире, и на земле. И постоянно из первого, родного, проступает безжалостно отчужденный второй. И нигде нету целого, надежного Саши...

Очередь двигалась медленно. Как много людей шлют телеграммы, слова, бегущие по проводам, когда же у каждого в кармане будет свой передатчик и приемник, скорей бы! Даже дети стоят со взрослыми, только мальчик лет семи бегал между людьми, что-то пел, приговаривал, личико его светилось на темном фоне юбок и брюк. Его окликали, он убегал и снова кружил по залу, светясь ласковыми шаловливыми глазами. Так хотелось схватить, поцеловать. Родила бы, если б было где жить. А Саша пусть живет себе как хочет. Пусть не любит! У нас в Рязани сначала жалеют мужика, потом любят, потом снова жалеют, и так до конца.

Не знаю, кто или что придает морскому судну определенные, ярко выраженные черты человека, может, его капитан? Например, теплоход «Урицкий» был дружелюбный, теплый и шумный, «Хабаровск» похож на купца, или, по-сегодняшнему, на разворотливого бизнесмена, а «Приамурье» оказалось тихим, чопорным, комсомольско-партийным. Теплоход стоял у морвокзала, шла посадка пассажиров на сахалинский Корсаков, а с площади Борцам гремело «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот», гимн края всегда включали в конце октября. Штурмовые ночи Спасска и Волочаевские дни навсегда соединились с падающими бурными листьями и первыми холодными ветрами.

Хорошая погода на Дальнем Востоке выглядит так, будто ее из-под палки заставляют быть хорошей или долго уговаривают, и она наконец соглашается, скупно улыбаясь уголком рта.

В Корсакове тоже было неласково, сохранился рисунок шариковой ручкой с улицами в сопку, домами, людьми, голыми деревьями и «Приамурьем» у причала. Я рисовала на верхней палубе, а на прогулочной сидел дядька в куртке-штормовке и солдатских сапогах, писал масляными красками то же самое. Я спустилась и стала ходить кругами, рассматривая мольберт, раскладной стульчик, палитру с красками, обо всем этом я могла только мечтать, дядьку я узнала — заслуженный художник СССР Кирилл Шебеко, но нарисованное не понравилось. В стиле наглой молодости не удержалась от советов, и он не убил меня, молчал, делал свое дело. В то время он был реалистом, а я любила импрессионизм, Леже, Пикассо, Рокуэлла Кента, выискивала их, полузапрещенных, всюду, где могла. Кенту в США даже послала восторженное письмо, и он мне ответил, и его письмо дошло! Он дружил с СССР, дарил нашим музеям картины, в общем, был молодец и как человек!

Кто-то назвал художников ловцами видений, они всегда увидят что-нибудь такое, мимо чего пройдут все остальные. И вот, выйдя подышать на палубу после комсомольского собрания, на котором верховодила двадцатилетняя Ермакова (ее звали только по фамилии, какой-то пережиток первых пятилеток, а не девушка!), на фоне вечной пустоты моря я увидела диковинных птиц, стайками и поодиночке присевших на деревянные планки фальшбортов и тросы лееров. Они расправляли платица перьев, распускали веером разноцветные хвосты, их мутные от усталости и бессонницы длинного перелета глаза становились зоркими и деловито-внимательными. В бесконечном, страшном, неуютном пространстве они увидели «землю» — эту палубу и леера, почуяли запах жизни в космосе холода.

Никогда я еще так не уставала, как в дни подготовки к круизу вокруг Японии. С пяти утра я делала свою работу, а потом меня посылали вместо отсутствующей номерной заправлять десятки коек чистым, скользким, накрахмаленным постельным бельем. Я даже подумала, что меня наконец переведут в номерные, но, наверное, для этого тоже нужны были какие-нибудь кофейные сервизы. Глубокие ящики кроватей вплотную забиты огромным квадратным матрацем, который нужно приподнять со всех сторон, чтобы завернуть под него жесткую от крахмала простыню. Застилая верхнюю койку, стоишь на нижней, балансируя на одной ноге, чтобы дотянуться до всех краев. Ногти на руках обломались до мяса, казалось, еще чуть-чуть и пальцы закровоточат. Доползала до каюты и, если никого нет, ложилась на палубу, разбросав руки и ноги, блаженствовала хоть минуту. Номерная явилась перед самым отходом, спасибо не сказала.

Я была новенькой на «Приамурье», даже соседок по каюте не рассмотрела. Однажды кто-то вошел, когда я передыхала на полу, засмеялся, перешагнул и сказал: — Я Галя, а ты?..

Совсем молодая, с голубыми глазами в пол-лица и какая-то не такая. Это ее койка внизу, как и моя наверху, была завалена тетрадками и книгами.

— А они всегда селят студентов вместе!

Голос был детский, нежный. — Я еще домой успею сбегать, мы живем близко, на Уткинской, хочешь, сбегаете вместе?

Я еще никогда не видела морячку, живущую во Владивостоке, все были приезжими, а эта шла утром на работу, как в какую-нибудь контору, а не на пароход, и вечером шла домой. И какие разные существа живут под одним именем: роковая женщина-вамп Галка Л. с «Урицкого» и этот дружелюбный ребенок. Визу, наверное, ей открыли мгновенно, а к нам домой, в Рязани, сестра рассказала, приходил кто-то в штатском, задавал вопросы на предмет: можно ли нашему роду ездить за границу? Представляю его обалдение в доме, полном икон с лампадками, большой, хрипящей старушкой на кровати с железными шарами на спинке и строгой, деловой

девушкой в очках, моей сестрой. Она, конечно, блеснула самым благонадежным фактом нашего рода — дядей, известным профессором Рязанского пединститута, весь род называл его просто Лешка-профессор.

По правую руку — Корея, по левую — Япония, морской коридорчик между ними, по программе круиза — впереди Ниигата. Наш белый «рысак», увешанный флажками, обвитый лентами серпантина, в облаке музыки, в запахе ресторанных яств беспечным денди, праздным гулякой появляется на горизонте портов и медленно приближается, отражаясь в воде от киля до клотика всем своим великолепием.

Я стою на шлюпочной и вижу все как бы со стороны, глазами все того же бедно одетого, вечно хотящего есть рязанского ребенка, полусироты: отец уже умер, не дорисовав странной для Рязани картины с морем и кораблем. Вообще-то, я вышла почитать на свету «Божественную комедию» Данте, скоро сессия. В нашей каюте иллюминатор почти на уровне моря, тусклый электрический свет никогда не выключается. В каюте и на фоне морей и материков книга Данте — это две разные книги. Учишь в каюте скрупулезное описание кругов Ада, думаешь: «Бедные люди!» А здесь, на просторе, под солнцем: «Бедный Данте!»

Столько солнца, еще зеленой листвы! Разделись все в яркое, светлое, радостное, не подумали, куда нас везут. В автобусе Галка щебечет мне про гейшу Чио-Чио-Сан — мадам Баттерфляй — и ее возлюбленного, американского дипломата Пинкертон, от которого она родила ребенка. Вдруг его отзывают назад, в Америку, но он клянется, что вернется за гейшей... В автобусе веселый галдеж, за окнами японские пейзажи, Галкины глаза трагически темнеют: — Приехал! Через три года! С американской женой! Отнял у Чио-Чио-сан ребенка! А она сделала себе харакири, а может, бросилась с обрыва в море.

Так вот про кого была песня «Девушка из Нагасаки», однажды услышанная в Шашиной компании, там всегда кто-нибудь пел. У Данте есть круг Ада для самоубийц, а ведь Чио-Чио-сан скорее святая! Автобус подъехал к мемориалу Жертвам атомной бомбардировки, и мы, легко одетые, долго стояли на холодном ветру, жалея японцев, себя и Чио-Чио-сан. Не везет Нагасаки с американцами. Все всматриваются в асфальт: сказали, что люди, застигнутые взрывом на улице, мгновенно превращались в пепел, вплавлились в асфальт. Перекреститься бы, но у советских людей не принято. Все дрожат, мечтая об автобусе, о родном тепलोходе. Пассажирский помощник весь в белом вплоть до носков и ботинок. Расфуфырился, а куда пошел? А может, так и надо? Чтобы сказать «нет» войне?

Встаем, как доярки в колхозе, без праздников и выходных, но сегодня как раз почуялся праздник. Помполит с шести утра бегают в белой рубашке, из камбуза — ароматы, в столовой на белых скатертях русские бутылки с газировкой и даже иностранные баночки с соком. Если с утра так, значит, вечером будет полный «бемс»! Вспомнила! Сегодня седьмое ноября! Я быстро домыла коридор, вымылась, сменила рабочее растянутое трико на халат и прилегла доспать до завтрака. Почему праздники возвращают в детство, мгновенно, до слез?

В неисчерпаемой памяти и на крошечной фотографии Седьмое ноября 1959-го, десятый класс на демонстрации на улице Ленина в Рязани. В классе всего семнадцать человек, все родились в 1943-м, войну, конечно, не помним, но отцов у многих нет. Девушки в цвету сгрудились вокруг классной руководительницы, все в длинных темных пальто, в плоских туфлях без каблуков, платки завязаны под подбородком, но одна, второгодница, в кокетливой допотопной шляпке. Флаги прислонены к стене кинотеатра «Октябрь», построенного пленными немцами на века, мрачном и величественном, с квадратными колоннами. На девичьих лицах написано торжественное обещание прожить достойную, честную жизнь.

Школа у нас передовая, уроки труда — на машиностроительном заводе, учимся работать на токарных и фрезерных станках. Есть предмет «Автодело», на котором мы добиваем старенький «Москвич» своим неумелым лихачеством. Наша классная — Римма — любит нас, как своих детей, но мы не отвечаем взаимностью, нам бы кого-нибудь, чтоб восхищаться и трепетать. А где же мальчики? Стоят отдельно, курят? Или, открячав «Ура» Ильичу с рукой и кепкой, уже смылись по своим мужским делам. Их мало, им все можно. На снимке я смотрю поверх голов, как всегда, счастливая «просто так!», ни от чего.

Через минуту тоже незаметно смоюсь счастливо и одиноко бродить в веселой и пьяной толпе расходящейся демонстрации, поющей и пляшущей прямо посреди дорог, а из уличных громкоговорителей — последние «Ура!» и множасьее, несовпадающее эхо, и брошенные транспаранты, и звуки гармошки, и смех, и уже вспыхивающие драки. Огромная Советская площадь возле набережной превращается в танцплощадку, духовой оркестр играет вальс «Дунайские волны» и даже модное, нерусское «Да, Мари всегда мила, всех она с ума свела...». В один какой-то момент ты смотришь как бы из космоса на эту многотысячную толпу сплошь в темных осенних пальто, неумело топчущуюся в едином ритме под еле слышную музыку жалкого оркестрика, и убегаешь в первую попавшуюся подворотню, чтоб рыдать, рыдать, рыдать...

Никакой фантазии не хватило бы представить себя Седьмое ноября в какой-то Кагосиме, городе, считающемся японским Неаполем, потому что море, южный климат, роскошь природы на каждом шагу, в общем, Неаполь. Впервые в этот русский праздник — не под ветром и первым снежком, а среди олеандров и пальм, в платье с короткими рукавами и босоножках. Мы медленно, нога за ногу, плыли по курортному городу, а наш групповод, высунув язык, рыскал впереди, дешевых лавок искал. И нашел! Даже на кофейный сервис окулисту хватило, правда, какой-то карликовый — крошечные три чашки, три блюда с рисунком Фудзиямы в неповторимом японском стиле. Вечером действительно был «бэмс» — праздничный ужин с бокалом вина, концерт и бешеные танцы подвыпивших туристов. Я дежурила на стометровках коридоров первого класса, Галка с такой же красной повязкой — возле огромного зеркала на спуске во второй класс, маялась от вынужденного безделья, а в каюте ждали учебники и недописанные курсовые, до сессии — месяц. Высокий, красивый бонвиван в администраторской являл собой еще один вид пассажирского помощника. Он просто играл эту роль, как артист с фотогеничными, радующими глаз, данными. Пусть туристы хоть весь пароход разнесут, главное, чтоб стрелки на белых брюках не помялись, галстук набор не съехал, холеный ноготь не поломался, а вышколенная обслуга сама знает, что делать. Как-то я нашла в коридоре монету в сто иен, принесла ему, думала, объявит по радио: «Кто потерял?» Флегматично сбросил деньги в ящик стола, и все. Но я была довольна собой — не соблазнилась чужим!

Седьмого ноября просторный музыкальный салон был забит под завязку, даже небожитель — капитан, этакий англичанин, снаружи и внутри застегнутый на все пуговицы — сидел с именинником-помполитом и благосклонно смотрел на выступление эстрадных знаменитостей — братьев Козининых, отбивавших четку под оркестр. Мы же с Галкой пялились на две живые картины на стенах. На одной падал, переливаясь, водопад среди живописных гор, на другой шумел и волновался лес и текла река, картины включались в электросеть, но редко, их берегли. Когда начальство ушло, началась такая вакханалия, что вспомнить приятно. Кругом были все «свои» — СССР и соцстраны Восточной Европы. Я не умела рисовать людей, но хотелось! Сбегала в каюту за бумагой и карандашом, сняла и спрятала как бы шпионскую красную повязку с руки и села в уголок салона. Но нарисовала по-



том, по памяти, тогда оторваться было невозможно от этой смуглой черноволосой пары, наверно, из Румынии или Югославии. Девушка в коротких узких брючках и настоящей морской тельняшке вышла на середину, прикурила от спички сигарету, бросила спичку на пол, начала медленно танцевать, все время затягиваясь. Оркестр подстраивался под нее. Галка ужаснулась брошенной на линолеум спичке и порывалась подползти и поднять.

— Сиди! — сказала я. — Это мираж, игра, сигарета незажженная!

Танец убыстрялся, и тут девушка, теряя равновесие от качки, стала падать, но зрители не дождалась позорного падения. Откуда-то выскочил парень и удержал ее, как бы отряхнул ее брючки и хотел уйти, но она элегантно сунула ему в губы свою «сигарету», обняла за шею, и вдвоем несколько минут они танцевали что-то несусветное: то разнузданное страстное, то тихое и печальное, то опять невиданно откровенное. С русской точки зрения девушка была ужасна, но я влюбилась в независимость, раскрепощенность, полет. Вспомнила танец толпы на Советской площади... Прокралась к выходу, вернула повязку на руку, не дай бог заметит пассажирский. Танцевавшая парочка, запаленно дыша, тоже вышла. Наверно, все же югославы, куда до них рафинированным Козининым! Заметив, что я уставилась на них, парень-танцор подмигнул мне.

Ничего больше не запомнилось из трех дней в японском Неаполе, Хиросима мелькнула сплошными зелеными парками с белыми дворцами зданий — это американцы заглаживали вину. И всюду было почти одинаковое, залакированное для туристов лицо — маска Японии с приветливой мудрой улыбкой, как бы сквозь врожденную печаль.

Наверно, какой-то японский бог обиделся за свою страну, невидимкой слетел на «Приамурье» и выбрал в провожатые нашей девичьей четверки этого странного мужчину. Кем же он мог быть на пароходе? Может, пожарником или одним из радистов? Мы сразу сказали ему, что иен у нас нет ни копейки и в лавки нам не надо.

— На выставку? — спросил он.

— Да! Да! — закричала я, думая, что выставка художников, а то, кроме Хокуся, никого не знала.

Он шел впереди, мы за ним, по городу Осака, как по темному лесу. Иногда он что-то спрашивал у прохожих, его не понимали, потом доставал карту города, тыкал в нее пальцем — без ответа. И прохожие пропали, пронеслись только аккуратные японские грузовики и самосвалы, даже поезда по узкоколейкам с товарными вагонами. Маленький, с желтым лицом, в очках — вылитый японец — дядька вел нас по промышленным катакомбам Осаки, час, два, три. Мы поняли, что заблудились, что провожатый не знает ни одного языка, кроме русского, да и тем почти не пользуется, и что мы никогда не вернемся на свой пароход.

За всю свою жизнь я не видела столько бетонных заборов, заводских и фабричных стен, подъемных кранов, дымящих в пасмурное небо труб, столько всего лязгающего, свистящего, клацающего, испускающего пар, смрад и вонь. Ни клочка земли, ни травинки, ни кустика, все заковано в камень и железо, ничего живого, только мы — четверо испуганных чужеземцев. Вот! Ты хотела изнанку Японии, получи! Эта страшная Япония существует для того, чтобы могла существовать Япония красивенькая, открыточная, благоухающая цветами навстречу тысячам белых пароходов с туристами со всего света.

Япония — огнедышащий дракон из четырех тысяч островов. На севере огромная голова ящера — Хоккайдо, Токио — сердце, Осака — урчащая утроба, задние лапы и хвост — южные острова и рифы. Японцы — трудоголики, работать по двадцать часов в день, лишь бы не думать, на чем они живут, не вспоминать ни о вулканах, ни о землетрясениях, ни о цунами, ждать весну в розовых облаках сакуры.

Наш пароход стоял себе спокойненько, белея на ночном фоне неба и моря. Стояли люди на причале, доносился их смех. Горели фонари, светилась дорога; нежно мяукая, звучала местная музыка. Порт остывал от рабочего дня, уютно пахло мазутом, бензином, морскими водорослями, автомобильными шинами, шевелились и качались невидимые в темноте высокие деревья, какая-то улица с красными фонарями возле низких домиков отходила от порта в ночь. Никто нас не искал, мы, загулявшие, возвращались домой, даже ужин нам оставили... Все подарил маленький нелепый мужичок, так и оставшийся без имени и фамилии, мечтавший сводить нас на выставку «Осака — 70», и ему, если жив, до сих пор стыдно, что не сводил. Мы, молодые, с молодыми волшебными силами, не то, что простили его, а запомнили на всю жизнь. Интересно, а есть ли кто-нибудь, кто помнит меня, не зная моего имени?

Как лучший или более знаменитый артист всегда выступает заключительным номером в концерте, так и туристам на закуску оставили столицу Японии Токио. Перед тем, как доспать после утренней уборки, Галка мечтательно прочитала из туристской программы: поездка на целый день поездом в город Никко — прекраснейший горный уголок Японии, экскурсии на автобусах в города-курорты Камакура, Еношима, обед в ресторане в Хаконэ.

— Томк, а ты была в ресторане?

— Была один раз, давно.

— Ого! Туристов повезут на промышленные предприятия и даже на завод по производству пива, вот радость мужикам!

— Томк, ты пила пиво?

— Один раз, невкусное, горькое и едкое, как слезы.

— Экскурсия по вечернему Токио. Может, и нас возьмут? Дружеский вечер на теплоходе с членами японо-советского общества. Все ковры затопчут!

— Томк, а еще я слышала, как помполит говорил, что собрал команду для матча, волейбольного, с посольскими!

— Мужскую?

— Конечно. В посольствах-то, наверно, одни мужчины. Красивые, важные, как Рихард Зорге, наш разведчик. Он же в посольстве работал?

— Да, но во вражеском, оттуда шифровки слал Сталину. Хорошо бы и нас взяли, а то кто же будет за наших болеть?

— Где там Маленькая Галка? Разбудите! Пусть срочно идет номерным помогать! Смена белья! — это голос старшей номерной, туристов увезли на берег, можно орать на весь пароход! Вставай, Маленькая Галка, сейчас и меня вызовут. Маленькой ее зовут в отличие от другой, немолодой, самоуверенной, зубастой Галки. Еще есть две Валентины, Валька Белая и Валька Черная, из одного райцентра, обе хорошие, добрые, можно дружить.

— Эх, моего батю сюда бы!

Это Галка смотрит на длинный, метров десять, стол, уставленный бутылками всех форм с пивом всех сортов. Экипаж теплохода отвоевал себе эту экзотическую, вкусную экскурсию, дегустируют без конца, не закусывая, женщины налегают на всяческие орехи, какие-то соленые шарики, острые на вкус палочки, тайком кладем все это в сумочки и карманы.

Японцы, все сплошь в деловых костюмах, рубашках с галстуками, довольно улыбаются, щедрыми хозяевами подносят к столу еще и еще. Этикетки на бутылках по-английски — «Асахи», «Хайт».

— А батя, когда достанет «Жигулевское», такой счастливый! А мама ругается, они у меня старые.

— Меня тоже родили, когда им было за сорок. Сталин аборт запретил, после войны народа не хватало. Личное ему спасибо от меня.

Какие-то крепкие молодые парни заполнили все задние сиденья автобуса. А, это наша волейбольная команда. Если не шатаешься по пароходу, как восемнадцатилетняя малолетка Любка Кучеренко (половина населения Приморья — украинцы), все время хохоча, кокетничая и заигрывая, то никого и не знаешь.

Автобус бесшумно летел по асфальтовым лентам то высоко над домами, то плавно снижаясь, нырял в туннели, то снова взмывал в пасмурное небо. Снова увижу эту дорогу у Тарковского в фильме «Солярис», вздрогну от узнавания. Все время в Японии сталкиваешься с двумя мирами: величественным, обогнавшим все страны миром фантастического будущего и миром карликовым, в рост ребенка, где каждая травинка, камушек, деревце ухожено, как произведение искусства, и имеет почти мистическое значение. Они легко и естественно переходят друг в друга без границ и грубого шва-стыка.

Посольство, на первый взгляд показалось большим парком, но строгое здание с широкой лестницей во весь фасад, все из серого камня, сразу вызвало сумбурные ассоциации из документальных или детективных книг и кинофильмов про войны, вождей и героев, дипломатов и шпионов. Даже тень Рихарда Зорге материализовалась на миг, сгустившись из серого тумана.

Естественно, я не смогла усидеть на скамейке возле волейбольной площадки и подбадривать криками нашу команду. Какой волейбол, когда призрак Рихарда Зорге и неизведанный парк в осеннем тумане! Тихо-тихо я кралась из этого мира в тот, где преображенные туманом деревья расступались, оборачивались и заманивали, маша руками-ветками с еще не опавшей листвой.

«На цыпочках через тюльпаны» — есть такое музыкальное произведение — медленно, метр за метром начинаю обход территории посольства. Как осторожное животное, все рассматриваю, все обнюхиваю. Гроздь мелких желтых цветов, длинные ветки бело-розовых соцветий, какие-то колосья с красной и лиловой пыльцой на кончиках, какие-то овальные листья в полметра с пушистой серо-голубой изнанкой. Очень много бутонов только собираются распускаться — созрели к ноябрю?

Здесь еще лето, даже весна, только под деревьями осень наследила прохладными лапками листьев. Стволы деревьев замшелые, бархатные, аккуратные до каждого сучка, как выхолненные лошади. Затаившаяся осень боялась шелохнуться, чтоб удержать в руках всю эту красоту.

Никаких теней, ни ветерка, ни игры света и мрака, полог неба ровно сер, застыл, как на японских гравюрах, размытыми пятнами тумана. «У них было, у этих птиц, по одному крылу, по одному глазу и по одной ноге. Они могли летать по небу, лишь соединившись по двое. А в одиночку они ковыляли, спотыкались и падали».

Где же моя правая нога, правое крыло? А вот и голые корявые ветки для японской классической красоты, вот сад камней, вот карликовый рай с речкой, мостиком, деревцами, фонариками, лесенками, даже нормальные черепахи кажутся огромными среди всего этого. К черепахам необъяснимая любовь, хочется гладить, целовать, удивляясь незвериной, аристократической невозмутимости и кротости.

Я еще не знаю, что по авестийскому календарю я — черепаха.

Черепахи были огорожены игрушечным парапетом игрушечной набережной в соответствии с японским: любоваться не прикасаясь, зато, может, именно мой знак черепахи послал мне видение вдали аллеи чего-то таинственного, стеклянного. Оказалось — причудливая, вся из цветных стекол, дверь высокой беседки темного дерева, словно из древних веков. В двери отражались деревья, кусты и цветы такого цвета, какого было стекло, можно было смотреть без конца, удивляться, сравнивать, но вдруг я поняла, что видела все это во сне, точь-в-точь, несколько лет назад. Я вспомнила, что эта волшебная беседка вовсе не беседка, это галерея — проход в большой серый дом с широченной, во весь фасад, лестницей. Действительно, за

деревьями открылось все это и мне стало не по себе. Что-то неизвестное, чужое коснулось меня, чего лучше бы не знать. Как и в том сне, я без боязни поднялась по лестнице, заглянула в высокие окна, отражающие сад, сорвала губами лепесток шиповника, цвел в ноябре! И пошла, куда тропа вела, полная непонятной грусти о каком-то раскрытом волшебстве.

Андрейке было три года, Игорю — пять, сами подошли ко мне. «Посольские дети», — поняла я, разулыбалась им, запросто взяла за горячие, очень грязные руки, и они повели меня мимо бамбука пятиметровой высоты, мимо магнолий, пальм, бассейна с мутно-зеленой водой и желтыми лапками кленов на ней. Вдруг открылся городок из маленьких деревянных домиков-дач с раскрытыми настежь дверями и окнами. Андрюшкина ручка затрепетала в моей, как пойманный птенец, рвущийся изо всех сил прямо к этим домикам. Полная русская баба лет сорока, в цветастом халате, с распущенными светлыми волосами что-то стирала, полоскала, развешивала прямо в пустых комнатках.

— Вы с парохода? — спросила, улыбнувшись.

— Да, наши с вашими в волейбол...

— Что вы привязались к тете! А руки какие, а ноги все в грязи! У тети, наверно, ребеночек на берегу остался, она соскучилась... Вот, все уже переехали, а мы задержались. Лето здесь жаркое, на дачках лучше... Гоните их, как увидят новеньких русских, так и пристают...

Мне хотелось сказать: «Да это я к ним пристала, это они для меня радость!» — но побоялась выдать себя... Мои глаза, не знаю с каких пор, стали тянуться не за мужчинами, а за детьми. Как много детей вокруг, как хочется прижать к себе любого из них. Я стала чужой этой молодой беззаботной жизни, этим круизам, красотам, туристам, иностранцам, смотрела на все, как марсианин, хотелось одного — уткнуться лицом в детское одеялко, где спит мой младенец, и дышать им.

Неожиданно все время трепетавшая ладошка вырвалась из моей руки, Андрейка начал варварский набег на пустые домики, в каждом валялись брошенные детские игрушки и книжки. Я тоже подобрала смуглого голыша, очень тонко и мастерски сделанного из нежной, как человеческая кожа, резины, никогда еще такой куклы не видела, вспомнила свою «Нилу» с волосами из суровых сапожных ниток и плоским матерчатым лицом, на котором отец нарисовал глаза и рот.

Игорь, малыш пяти лет, ничего не подбирал, он рассказывал мне о домашнем «кондишене», о своем друге Алешке из торгпредства, который катается круглый год на роликах и который уехал, о собаке, выгнанной из дома из-за блох, назвал мне, явно хвастаясь, все марки машин и самолетов.

Андрейка с полными карманами игрушек опять вложил в мою руку свою грязную, горячую, как огонек, и смотрел на меня снизу ласковыми, добрыми глазами и тепло улыбался от моих поцелуев.

Тут вдруг появилась девочка лет двенадцати, с колющей иронией оглядела нашу компанию и спросила у Андрюшки, куда это он несет барахло, которое подбирает по углам? Тот посмотрел на куклу с моргающими глазами, на желтую машину, на клюшку и, потупив голову, прижал все это еще крепче. Мне тоже было стыдно, я не знала, куда деваться от этой презрительной принцессы, совершенно несоветского существа. Я и сама открыто несла толстую книжку с картинками — русские сказки на английском, найденную затоптанной на пыльном полу. Я молча взяла Андрейку за руку, и мы ушли все втроем, даже с Игорем, который при девочке отчужденно отошел от нас. Чтобы отвлечь их от девчонки, я рассказала им свою любимую сказку «Дикие лебеди», довела их до дома, и Андрей долго махал мне рукой. Игорь смотрел куда-то в другую сторону. В автобусе с нашими я тоже чувствовала себя виноватой, не знала даже, выиграла они или проиграла.

В каюте достала найденное сокровище, таких красивых книг в наших книжных не продавали, жаль, английского языка я не знала, в школе был немецкий. И не знала, зачем случаются в жизни такие дни, которые тоже как будто написаны на непонятном языке, и как это сны сбываются? А на койке Галки, как в каком-нибудь бутике для мужчин, красовалась стопка мужских носков, зажигалки, модный галстук.

— Каюте это? — удивилась я, наивная, которая еще ни разу в жизни не покупала мужских вещей. Галка нежно, как всегда, улыбнулась, погладила рукой добычу.

— Жорику...

— У тебя жених есть!?

— Да, мой одноклассник...

— И как ему, что ты плаваешь, а он на берегу?

— Да нормально, он студент ДВПИ.

Надо же, одноклассник! А я-то всю жизнь думаю, что мечта выйти замуж за этих маменькиных деток может вызвать только гомерический смех.

— Ну как там, в посольстве нашем?

— Да ничего, стол накрыли с кока-колой, пивом, орешками. Девушки наши кокетничали; а они... вроде лица русские, язык русский, разговоры, но они все уже не русские, прибабахнутые какие-то, скованные, скучные, а ты где бродила?

— Потом расскажу...

Пирс был оживлен, рядом с нашим пароходом, с красной трубой с серпом и молотом, стояли шведский и японский, английский и монгольский грузовики, как просветил нас пассажирский помощник, красуясь в чем-то новеньком, шикарном.

На закате вышло солнце, отразилось желтым уютным светом в мокром асфальте длиннющего причала. Флаги и огни судов, шум кранов и лебедек, многоголосый говор, крики чаек, чавканье волн, вечерний жар перенаселенного города... Прощай, Япония! Саенара! Ватасива аната оаиси мас! Кто-то сказал, что так здесь объясняются в любви.

В минуты отхода на палубе всегда много любителей подсмотреть миг отрыва от земли, такой же медленный, как отход поезда от перрона, но более острый, неотвратимый. Туристы, как дети, ловят цветные ленты серпантина, машут руками удаляющемуся берегу. Да, серпантинная фабрика в Японии процветает.

А я вдруг замечаю со своей шлюпочной палубы, как бегущая по пирсу фигурка останавливается на самом краю, чуть не упав в море. Думаешь, кто же может так бежать, какой дурак? Наверно, и в Японии полно мечтателей. Беги, дурачок, беги, пока не вырос в скучного взрослого!

Тут вдруг сразу океан, дикий зверь. Дохнул, и на палубе — никого, разбежались по каютам. Посмотрел своим диким глазом, шевельнул мускулами — большой, быстроходный пароход превратился в беспомощную скорлупку, подбрасываемую волнами. И никто не выйдет посмотреть на «морских клоунов» — дельфинов, кувыркающихся по волнам. Все лежат в лежку, блюют, надо идти убирать. Тут еще «Праздник Нептуна», весело, конечно, но... Кто же все-таки бежал по длинному пирсу, провожая чужой пароход? Фигурка в чем-то светлом. Старик? Девушка? Ребенок?

Подтерты лужи в коридорах от Нептуна и его бесноватой свиты, которая бо-сиком, прямо из бассейна, вся в декоративной тине и морской капусте из пакли шаталась по пароходу. В администраторской сегодня дежурит «малая Галка» со своим вежливым, интеллигентным личиком девочки-отличницы, я свободна!

Оденусь потеплее и — в свой «планетарий», моя сестра сказала бы в «храм», у нее слабость к пафосу. Все-таки (осень и в этой части глобуса) темнеет рано, но их ноябрь, как наш октябрь, — самое звездное время. Почему-то шлюпочная палуба всегда пуста.

— Чего ты там не видела? — сказал мне однажды кто-то, курящий в темноте, на ветру, а я пялилась в небо.

Только в море можно увидеть небо во всей его жуткой, нечеловеческой сути, между двумя безднами, в которых человеку не выжить. Где на тысячи километров нет ни огонька, ни жилья с дымком над крышей, ни деревца, ничего земного, человеческого. Только студенистая, мерцающая субстанция Космоса, похожая на мозг со своими облаками-туманностями, плывущими неизвестно куда и зачем. Может, небо — это и есть мозг? Остается только раствориться в этом ужасе и остатками «я», ликовать и пытаться выплыть. Неужели действительно без Бога Космос переравить невозможно?

С утра туристка ко мне подбежала:

— Сибирь! Сибирь!

Показывает на свою каюту, по-русски не говорит.

Я поняла, что в каюте холодно, доложила пассажирскому. Значит, идем уже в советских водах, скоро Владивосток! Мое зимнее пальто отличается от осеннего только пришитым на скорую руку меховым воротником из крашеной в черный цвет лисы, не мерзну никогда, от рук без варежек-перчаток всегда идет пар, щеки, как два яблока. Малая Галка точно такая же, только на голову меньше, всегда зовет к себе в гости, их дом рядом с университетом и Покровским парком. Но я стесняюсь, одичала от замкнутой пароходской жизни, жители города для меня инопланетяне.

Лучше выпрошу хоть один отгул за все проработанные выходные и праздничные и пойду шататься по земле, я ведь не рыба, моя родина — земля. Видеть море уже не могу, даже когда оно спокойно — все равно зверь, спит вполглаза, — клыки и когти наготове. И чайки, эти птеродактили в черно-белых тельняшках, — ни чириканья, ни песен, один ор!

Снега еще не было, и позднесенняя земля так пахнет! Прямо песня для души. Какой-то домишко в тумане, сухая полынь в человеческий рост, высохшая еще сто лет назад — пейзаж первых поселений. Растекающиеся пятна фонарей и отражений, гудки паровозов и последние метры железнодорожной магистрали, обрубленные океаном под эгершельдовским мостом.

А вот жилистое дерево, искривленное по всем направлениям здешних ветров, и люди есть такие же, прямо хочется погладить огрубевшую кору, сказать:

— Молодец! Держись и дальше! Дай-ка я тебя нарисую хоть шариковой ручкой на клочке бумаги.

Фотоаппарата, конечно, не было, у кого они тогда были?!

Какое счастье идти пешком, час, два, по твердой, некачающейся земле, на что ни взглянешь — радуешься. Вот провода между столбами висят, как нити бус с алмазными каплями мокрого тумана, такое не придумаешь, неужели я когда-нибудь буду рисовать с природы масляными красками? Буду, еще как! Много лет!

На любимом Эгершельде еще ни одной скучной «хрущевки», зато деревянных домов и барачков всех видов — целые улицы, как в моей деревянной Рязани... И огороды с пожухшей ботвой, и тусклый свет зажигающихся окон, и таинственные сумерки «между волком и собакой», час превращений всего во все, что угодно! Возвращаясь на пароход и дикими глазами смотришь вокруг. За каждым углом, поворотом дороги могло открыться чудо, какая же дорога привела сюда? Но думать и мечтать не давали: пассажирский, как только видел уборщиц без дела, тут же находил его, называл нас только по фамилиям, но на ты, этот человек «весь в белом» дистанцию держал даже со старшей номерной, никаких «вась-вась».

— Отгуляла, Алешина? Теперь иди ковры пылесосить.

— Но вы мне два отгула дали...

— Иди, работай, отгулы ей... В Гонконг хочешь?

Гонконг! Здорово! В прошлый раз я его мало рассмотрела, опять порисую с палубы, позагораем на декабрьском южном солнце; куплю игрушки для племянника, каких у нас нет, успеем с Галкой вернуться как раз к зимней сессии. Пусть не все предметы, но хоть некоторые сдам, конечно, «хвостов» не избежать. А Электрону Григорьевичу сдам все! Никогда не буду должником по его предмету!

Как странно, главное новогоднее пожелание у китайцев — «Желаю вам быть богатым», деньги — главное китайское божество, веселый бог Гермес в сандалиях с крыльями и с мешком денег за спиной, в храм пускают только того, кто пожертвовал этому храму кучу денег. Слава богу, что у нас в СССР не так! Хотя... вот вспомнилась одна девчонка в общежитии: копила деньги, покупала наряды и складывала в большой чемодан под кроватью, говорила:

— На будущее!

Мы смеялись, ведь через год-два все это выйдет из моды! Она смотрела на нас презрительными, непонимающими глазами. Так вот и осталась в памяти то ли символом нищеты и жалкости, то ли наконец-то прочитанным знаком моей судьбы, что богатств мне не нажить, это — не мое.

Бухта Золотой Рог при всем желании не могла замерзнуть из-за своего активного химического состава, и дальневосточный Нептун с развевающимися космами ледяных северных и влажных южных ветров прилетал посмотреть, как отражается в мазутной воде наш игрушечка-теплоход.

Желто-коричневые ржавые потеки на бортах в тысячный раз закрашены, разноцветные флажки хлопают и трепещут, музыка включена на палубу и пытается смягчить и очеловечить напряженный рабочий шум огромного порта. Предотходная лихорадка идет по нарастающей, туристов еще нет, но судно полно народа, весь экипаж на ногах, и всякое проверяющее-направляющее начальство с берега.

Я переодевалась в каюте, меняя рабочий облик на вылощенно-нарядный, дежурить в такие дни интересно и ответственно, повязку на рукав, и вперед, как в бой! Прибежала Галка, сказала, меня ждут возле администраторской. Кто? Кому я нужна? У самого входа, едва переступив за комингс, перед администраторской стоят двое мужчин, ошалело оглядываясь вокруг.

— Саша?!

Тот, что ниже ростом, вскидывает глаза, неуверенно вглядывается, делает шаг навстречу. Саша! Пассажирский помощник зовет меня, ну да, я ведь дежурная. Зеленые глаза уже улыбаются, Саша обнимает меня, я говорю:

— Сейчас!

И бегу к пассажирскому. Боюсь, что обидится, уйдет, оглядываюсь, машу рукой.

— Сейчас!

Мы не виделись полгода, почему он пришел не один? Боится...

Вдруг уже — чужой... Полгода назад я жила в гостинице, сдавала весеннюю сессию, а он каждый день приходил, мешал, уводил к друзьям или гулять по набережной. Собирался в путину на плавбазе, бывшая жена в Одессе требовала алименты. Ему же хотелось писать стихи и прозу, выступать на радио и в газетах, странствовать и летать.

Через несколько минут я снова рысью — к администраторской. Слава богу! Мужики сделали шаг поближе и топтались в своих темных зимних пальто у огромного зеркала на коврах, Саша опять в ботинках «прощай, молодость».

Я вдруг взглянула на все вокруг их глазами — зрелище несоветское, может, даже обидное для обработчиков с плавбазы, и я — часть этого, какая-то разодетая, порхающая под музыку. И запахи дезодорантные, и огни множатся в зеркалах, и вон какой-то весь в белом приказывает что-то двум птичкам-колибри, нет, это не обработчицы! И даже пальма совсем не в капустной кадлушке, и идут, слышать, в

Гонконг. В общем, парад-алле! Мир, переполненный доверху сытостью и шиком, совершенно чуждыми этим двум парням и даже самой реальности. Разница в образе жизни бросалась в глаза, в зеленых глазах, всегда таких ярко-весело-искрыщихся, стояла тоска.

И вспомнился Сева Кольман. У него в гостях в сталинской «Серой лошади» мы слушали полузапрещенного Высоцкого. Квартира принадлежала кэзэбэшному тестю, но — Высоцкий пел! Саша тогда тащил меня то в одни гости, то в другие, он любил одиночество только за письменным столом.

Как я подчинялась ему! С восторгом! У меня, кроме него, не было ничего и никого. Какой письменный стол! Ночевать негде! Как-то пошутила, если он ничего не напишет, я с ним разговаривать не буду. А он:

— Спишу у Ювенала, Марциала, Тацита, ты их не знаешь.

Тогда я сдавала римскую литературу и, действительно, не успела их выучить. Была весна...

Все так же стояли, неандертальцами смотрелись, слегка набычившись под любопытными взглядами посреди этих райских кущ. Саша обнял меня, Севка отошел.

— Пошли?!

— Мне увольнительную не дадут, поздно, работы перед отходом много.

— Совсем пошли, увольняйся! Будем вместе.

Я как будто прыгнула в холодную воду.

— В Гонконг сходить... валюта... куплю чего-нибудь... нам пригодится.

— Нет! Или сейчас со мной, или...

— Куда мы пойдем?

— У меня каюта на плавбазе на шлюпочной палубе.

— А чемодан из камеры хранения брать?

— Конечно!

Я написала заявление, тут же получила обходной лист. Я пела никому неслышные песни и радовалась, как ребенок, который не думает, не терзается сомнениями, а несется к чему-то неизвестному со всех ног, веря, что там его ждет чудо.

От меня уже ничего не требовалось, все стронулось и покатилося само, впереди меня, какое счастье подчиняться высшей воле! Она лучше меня знала то, что мне нужно, и пришла на помощь. В глубине себя я точно знала о мотыльковой временности своей жизни на этих белых пароходах, но другой у меня не было. Единственное, что я могла сделать для будущей, настоящей жизни — это учиться, и я училась. А теперь все мои пароходы причалили к берегу, и я одновременно со всех них по качающемуся трапу сошла... или спустилась на землю.

